



# СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

# Сергей Степанов

## Добрые люди

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=48449156](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48449156)*

*SelfPub; 2019*

### **Аннотация**

Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Эта книга – сборник рассказов о моих друзьях и знакомых, о людях, которые живут здесь и сейчас, и стараются понимать и уважать других в мире, избавившемся от строгих правил морали, в мире, где добрым является не только тот, кто готов в любой момент прийти на помощь несчастному, но и тот, кто умеет громче прочих кричать о том, что он – добрый. Содержит нецензурную брань.

# Содержание

|             |     |
|-------------|-----|
| ШАГ         | 5   |
| ПОБЕГ       | 26  |
| ДАВКА       | 60  |
| ПОДАРОК     | 130 |
| ДОБРЫЕ ЛЮДИ | 158 |

*Они ехали... ехали... ехали...*

# ШАГ

«Ленка, ты отчаянная!» Так ей много раз говорили. Хотя чего такого отчаянного в том, чтобы носиться целыми днями на велике или валить бугаёв на занятиях секции таэквондо, или мальчиков для поцелуя выбирать по воле поющей из воздуха монетки? Энергичность – не более. Не замечала она за собой до времени ничего такого отчаянного. А там и возраст подмигивать начал: «Не дури»; да и ножки – эти просто взяли и сменили плоские джинсы на сворачивающую шею юбочку. Не до великов стало.

Поэтому ей совсем не пришлось бороться с собой, ну, там, сохранять спокойствие, делать какой-то невозмутимый вид. Она так сразу и сказала: «Ой, блин, страшно...», в смысле, что: «может не надо». «Я надеюсь, моё общество позволит чуть понизить градус страха», – произнёс телефонный динамик Денисовым голосом. «Ну да», – пробубнила она. От его голоса... Скорее нет – от его речи, непривычно гладкой... ну, как в книжках, что ли, она таяла. У неё прямо дрожать начинало всё внутри, когда она представляла, как его губы шепчут ей его слова на её ухо, отзываясь вспышками в самых потаённых глубинах её сознания.

– Я заеду завтра в восемь. Утра! Не вечера! – уточнил голос. Потом, вспомнив, добавил: – Леночка, надень штаны ка-

кие-нибудь погрязнее.

Она рассеянно покивала головой.

– Ты слышала? – повторил голос.

– Я покивала же... – просюсюкала она. Ей очень понравилась эта первая в их жизни «Леночка».

– А я так и понял! – Он засмеялся заразительно. – До завтра!

– Пока, – заразилась она и отложила телефон, продолжая улыбаться, оглаживая его нежными пальцами.

Вздыхнула глубоко и радостно. Он подошёл к ней недавно, и она всё поняла и скрываться не стала. Когда он сказал ей тоже записать его телефон на всякий случай, сразу набрала: «Дениска». И сразу же, даже не дожидаясь звонка, написала тогдашнему парню, однокурснику, чтоб он ей не звонил, т.к. влюбилась в другого.

Он был старше её лет на пять, носил солидную щетинку, прикосновение его сильной руки, к талии, или к локтю, вздымало волны слабости, ударявшие в ноги тёплым прибоем. Это было их третье свидание. Он водил её в музей, в театр, теперь вот на аэродром.

– Папа, а ты прыгал с парашютом? – Она вошла в гостиную.

– Было, было дело. И с парашютом прыгал, и без парашюта прыгал. А бывало, и не прыгал вовсе, а... – Он ущипнул сидящую рядом жену. Та озабоченно отмахнулась – следила

за телеэкраном. Лена ценила редкого весёлого папку с бровками-крылышками. Он работал в каких-то структурах, и, если она встречала его вечерами, его брови чаще всего изображали из себя мохнатый навес.

– Ну давай, расскажи тогда, чё там делать-то надо?

– А ты что, прыгать собралась? – Мама мгновенно переключила экран на неё. – Не неси чушь!

Тут вы можете спокойно идти и пить кофе. Минут пятьдесят, не меньше. Ленкин маман – типичный домохозяйка, а значит: гнездо, птенчики и всё, что с этим связано. А тут ещё непрерывные новости об авиакатастрофе, которые, как сериал, она впитывает в себя последние несколько дней. Получая такую подпитку, мама совсем с ума сходит. «Какой ужас!», «Какой кошмар!» или «Сто восемьдесят два!» повторяет она. И, как только выпуск кончается, все эти ужасы, и кошмары, и сотни вариантов трагических катастроф обрушиваются на её несчастную семью. Доходит чуть ли не до того, что следующий самолёт уже падает непосредственно на Леночку, на бедную, несчастную девочку, которая идёт, ничего не подозревая, в универ. Не стоит и пытаться объяснять при этом, что не идти в институт по этому поводу глупо, что с тем же успехом самолёт найдет её и здесь, в квартире. Мама не понимает, успокаивается, только если Лена остаётся с ней. С другой стороны, нет этих выпусков, затишье с кошмарами – мама всё равно места себе не находит. Предчувствует, что что-то произойдёт. Сердце ноет, голова болит. Слов-

но ждёт с дрожью нетерпения следующего ужаса, чтобы выдохнуть: «Я же говорила...». В общем, Лена пожалела сразу об этом глупом манёвре. Сказала, что всё это теоретически, что друзья вконтакте какие-то... Вынесла упорно минут пять обороны и, когда огонь стих, отошла на резервные позиции своей комнаты, подмигнув незаметно папуське.

Села за компьютер и открыла блог Smur188. Он лучше и подробнее всех описывал ход расследования таких катастроф. Ещё свежи были воспоминания вчерашних слёз. Он выложил в сеть, а она прослушала, запись с чёрного ящика. Было слышно, как второй пилот пытается сломать дверь, как визжат женщины в салоне, как мужики кричат: «Save me, God!» Лена поводила мышкой вокруг ссылки, но снова это переживать не решилась. Было слишком ужасно.

В этом она полностью понимала свою маму. Только та всё же сильнее, глубже воспринимала все подобные трагедии. После новостей о землетрясении или урагане с жертвами она зачастую оказывалась в постели с валерьянкой и корвалолом. Заходящей пожалеть её дочери рассказывала про своё предчувствие, про то, что именно тогда, когда этот ужас происходил, ей было нехорошо. Вполне возможно, что у неё были реальные способности. Уж очень часто плохое самочувствие сопровождалось экстренными выпусками новостей.

Сама Лена считала, что это очень естественно – сопереживать, что хоть так люди должны отдавать дань погибшим.



Только, может быть, в силу молодости, а может быть, из-за сухости чувств, меньше сострадала всем несчастным, чем мать. Однако она обладала очень сильным воображением, и вечерами, посмотрев новости перед сном, она, порой десятками минут, до мелочей восстанавливала в представлении ход трагедий. Бывало иногда, что её представления оказывались такими живыми, что на следующий день где-нибудь на улице или в торговом центре накатывали на неё объёмной волной, со звуками, с красками, даже с запахами. Она ярко, всем сердцем представляла, как гибнут несчастные дети, а их матери держат их на руках и кричат, поднимая лица к небу. Её дыхание учащалось, сердце тукало быстрее, руки начинали подрагивать и движения могли ошибаться: она спотыкалась или задевала кого-то. Из её глаз текли капелюшки, и она усаживала себя на полчаса в кафе, чтобы отвлечься и прийти в себя, или торопила себя домой, к маме и папе, чтобы забыть и снова почувствовать себя в кругу безопасности, тепла и любви.

– Ну так что? Что за парашютики? – спросил папа, усаживаясь на диван рядом с её столиком.

– Не знаю. – Она пожала плечами. – Папа, я так переживаю из-за этих несчастных людей. Которые разбились. Представляешь, оказывается, они падали около трех минут и всё это время знали, что умрут.

– Ну что вы так... Только что маму успокаивал, рыдает

там... Теперь ты. Того, что случилось – не поправить. Оставь их в покое, Ленка.

– А ты что, не переживаешь?

– Переживаю, конечно, – покивал он и захитрил: – А ты именно из-за тех, которые в новостях, переживаешь? За других не переживаешь?

– Ну, про других-то я не знаю, – пожала плечами Лена.

– Ну вот и про этих не знай, лапуля. Через три месяца о них уже и не вспомнишь... Займись делом, чтобы отвлечься, – он погладил её по головке.

– Так а тебе, тебе что – безразлично? – обиделась она.

– Мне, зайка, переживать некогда. У меня каждый день... Конечно, никому не желаю испытать такое... Ну так что там, с парашютиками-то?

– Не знаю, прыгать с парашютом буду. Друг пригласил... – она сказала это, глядя в экран, но он всё понял.

– Ты там, с этим другом-то... Слышь? – рассказал он.

– Ну папа... – объяснила она.

– Ладно, ладно... Куда поедете-то? На чём опускаться будете?

Она пожала плечами.

– Ну, в общем, ничего не знаешь? Настоящий десантник! – Он обнял её за плечики и погладил. – Давай-давай! Перворазик... Моя доча должна уметь! Только мамке ни в жисть не говорить! Поняла?

Она сделала рожу из разряда «исчо бы!»

– Скорее всего, вас на дубках, конечно, сбросят. Знаешь что, лучше бы, конечно, на инструкторе первый раз прыгнуть...

– Как это?

– Ну, это когда тебя к его пузику прицепляют, и вы вместе прыгаете. Так и веселее, и спокойнее.

– А ещё как бывает?

– Ну как, на дэшке. Это на куполе обычном то есть. Там главное – приземление. Ноги – вместе, руки – держат стропы вверх. – Он встал с дивана и показал ей позу. – Ну-ка, встань тоже...

Он заставил её залезть на диван и научил её, как приземляться на сведённых ногах.

– Самое противное, конечно, это когда по земле тянет. Надо сразу купол гасить. Как только упала на землю, сразу, не думая, встаёшь и бежишь к куполу. Обежала его вокруг и руками к земле прижала.

– А может тянуть?

– Конечно, – ответил он. – Если приземный хороший, ты вот, как ветер дует, с такой же скоростью и полетишь сквозь все попутные кусты. Это вас, лёгеньких, в первую очередь касается... Хотя чёрт его знает. Например, на дом – тоже довольно опасно... У меня один паренёк так, Серёжа Ломов...

Он остановился...

– Ну расскажи, расскажи, интересно!

– Ну что – «расскажи»... На куполе тоже опускались...

Да... Тогда этих, крылов-то, не было ещё. Там... Ну, там, учения... И в городской местности. Ну, там, дома по десять этажей где-то.

– Ну, и...?

Папа почти ничего о своей работе не рассказывал.

– Ну и словил Серёга крышу. На самом краю остановился. Подумал, видать, что сел, пошёл так, неторопливо, купол собирать, а тут порыв... Купол с крыши, Серёга за ним – как пушинка...

– Ну и что? На землю сел?

– Сел... Сел... Потом вот несли его по очереди.

Папа занемного словил. Она тоже расстроилась.

– Так он что – умер?

– Нет, ногу сломал... – взбодрился вроде папа. – В общем, ты, если видишь, что на дом – по крыше бежишь и с края прыгаешь. Пока купол раскрыт. Поняла?

– Да поняла... Ноги-то не казённые!

– Ну во! – Он погрозил ей пальцем. – Друг... Я тебе...

Поцеловал макушку, обняв, и пошёл к выходу из комнаты.

– Средства связи не выключаем! – это уже и не папа был, вроде, а инструкция.

Лена, кивая и улыбаясь одновременно, вернулась к монитору, почитала открытый пост. Потом перешла в поисковик, набрала: «Сергей Ломов» + десант + упал с крыши» и долго копалась, пытаясь хоть что-то найти.

Перед сном она ещё раз успокоила маму, сказала, что по-

едет завтра на пляжик. Та смотрела на неё недоверчиво и говорила, что лучше не надо, что у неё предчувствие... Потом мылась, расфыркивая душевые капельки на стену, переодевалась в пижамку с мишками, мечтала по потолку, валяясь на расстеленном диване и закинув ноги на стену. Потом посмотрела немного ночных новостей и бухнулась в сон. Потом лежала щекой на Дениске, и он охватывал её лицо своими сильными руками. Они нагревались всё больше, и папа гладил её по голове. Он обнимал её и целовал всё ниже, и его щетинка смешно щекоталась, и папа стоял рядом и улыбался, а самолёт кружился, и она падала, падала, падала, смеясь от ужаса и от счастья, прямо в жаркие мягкие добрые руки.

Будильник чуть только заденискал, она его тут же прижала к тишине, так даже и не заметив, где закончился он, а где началось утро. Она пошлёпала по коридору, нажала на ручку и испугалась – тубзик был закрыт. Но папа тут же кашлянул и пошуршал газеткой. Она вздохнула. С мамой лучше было не встречаться сейчас. Она шустренько сбегала в маленький, помыла в его раковинке лицо и руки, на цыпочках вернулась в комнату и, накинув платице и шлепки, потекла к двери.

На кухне мелькнула быстрая тень, и у неё упало сердце.  
– Дверь закрою, – прошептал папа, поцеловав её в щёчку.  
– Пока... На пля-жик! – напомнила она.

Он усмехнулся.

Динька уже стоял перед подъездом, и она в последний миг осеклась, метнувшись к нему – они ещё «не целовались». Он приобнял её и тут же спросил про одежду.

– Какую одежду? – радостно заморгала она.

– Как какую? Я же тебе говорил: грязные штаны и кеды какие-нибудь! Нам же по полю ползать с тобой придётся.

Она расстроилась. Подниматься назад совершенно не хотелось. Была возможность не вернуться вообще. Она поведала любимому об этом, он усмехнулся, назвал её пнём и полез в багажник своей большой машины.

– Ладно, – сказал он, – держи боты мамкины, а штаны, я думаю, там тебе найдём.

Он говорил так серьёзно и так спокойно. Сердце бухало прямо в горле, и она стояла, как дура: в каждой руке по грязной ботине. Смотрела на него.

По пути они слушали музыку, и она ему что-то спела своим поставленным в школе сопранчиком, а он сказал, что это крутяк, и она пела ему ещё. Стюардессы разливали чай и кофе, соседи тихо переговаривались, шуршали газетами. Позавтракали и они на заправке, и она заляпалась френчодогом вся совсем, и он её лицо сначала вытирал нежной салфеточкой, а потом отправил мыться в ВЦ.

Аэродром был довольно далеко, они подъехали около десяти. Несколько небольших домиков, огромное, до горизонта поле, самолетики за домом видны – какие-то накрыты, ка-

кие-то целиком. Они поставили машину и вошли в здание. Там было людно. Человек двадцать, молодежь примерно их возраста, сидели на стульчиках вокруг доски, завешанной плакатами. Инструктирование уже началось, и они тихонько сели в заднем ряду.

Ребята все были приятные, свежие, яркие. Но серьезные. Многие записывали. Она почувствовала себя среди своих. Выделялся и смешил её один парнишка, да как парнишка, он был, пожалуй, старше их всех – в очках, серьёзный-такой-серьёзный. Задавал вопросы и глубокомысленно дискутировал с инструктором. Гений, одним словом.

Инструктор называл им марку и рассказывал об устройстве парашюта, объяснял про группировку приземления, про которую она уже слышала, рассказывал про деревья и крыши домов, повторяя папины слова. Ей казалось, что это всё она уже тысячу лет знает, что всё это очень просто. Главное, когда будет набегать, – сгруппироваться; если на крышу – спрыгнуть, быстро пробежав и толкнувшись, если в воду, то...

– Ладно, ребята, это вам всё, надеюсь, сегодня не пригодится. Воды у нас тут нет, дома ближайшие в двадцати километрах. Расскажите вы мне теперь, что же самое сложное в прыжке с парашютом?

– Приземлиться? – произнес гений.

Инструктор сделал паузу, чтобы все могли впитать эти мудрые слова.

– Почти! Самое сложное – сделать первый шаг. Шаг из самолёта. Ведь для того чтобы приземлиться, нужно взлететь, правда? Так вот... Ваша вся природа будет вам противодействовать. Она будет вам вопить, что это всё глупость, что лучше никуда не прыгать, а посидеть спокойно на скамеечке и приземлиться вместе с самолётом. Это же каким же надо быть, действительно, дураком, чтобы с твердой, относительно, поверхности взять и шагнуть в пустоту! Поэтому задача у вас, друзья мои, одна – вот эту самую природу взять и переломить! Зато потом... Когда шагнули... Мы все молчим, смотрим и наслаждаемся красотой полёта.

Инструктор сделал паузу, чтобы все представили, как они шагают в пустоту, а потом наслаждаются. Вокруг хихикали, перешёптывались и подталкивали друг друга в бока. Она отчетливо представила, как падает в объятия любимого и прижалась щекой к его плечу. Денис погладил её по головке.

– В общем, главное в этот самый миг, ребята, перед шагом, забыть, кто вы есть. Вообще про всё забыть и смотреть только на спину впереди идущего и делать то же, что делает он.

– А тому, кто первый пойдёт? Тому что делать? – спросил, естественно, гений.

– А вот это вы, вскоре, и узнаете.

Раздался дружный гогот. Гений один не смеялся – его лицо растерянно растянулось.

Им раздали бумажки, и они, перешучиваясь, заполняли



реквизиты получателя страховки на случай фатального исхода, подписывались, подходили гуськом к журналу инструктажа, вписывали свои фамилии и тоже подписывались.

Денис отошёл куда-то и через минуту пришёл с огромными пятнистыми штанами. Они были зимними и ширинка на них не застёгивалась. Она утонула в них по самые подмышки и с энтузиазмом позировала ему на улице.

Полетела первая партия, и они вышли из домика и смотрели, как самолёт, глухо урча, поднимается в небо, как от него отделяется белый комок, потом другой, третий, как комки бумкают и превращаются в белые цветочки. Она держала его за руку и, запомнилось, тоже смеялась, показывая пальцем, как над самым первым парашютистом открылся второй купол. «Обкакался». Возвращались розовые ребята из первой партии, показывали большие пальцы, курили, матерились, выставляя вперед ещё дрожащие мелко руки. Смеялись беззлобно над гением – это он каканул. Потом, когда их партия уже оделась и стояла перед дверью на лётное поле, а она, внутренне дрожа, настраивалась на этот прыжок и представляла себе этот самый страшный шаг, и даже делала его, с серьёзным личиком подпрыгивая на левой ножке, чем развлекла Дениса и других ребят, вошел инструктор, показал руками крест и сказал, что ветер, что прыжок откладывается.

– Все курят, – сказал он и пошёл курить первый.

Они побродили между людьми. Но от дыма она закашлялась, и тогда они отправились в машину, поели припасённые им булочку и яблочко, и как-то незаметно, когда она пальчиком снимала крошку с его губ... Он шептал ей что-то на ухо. И это было очень жарко, жарко от этих губ и от зимних штанов, и ей запомнилось, что копьём удовольствия её пронзил именно этот вид большого, раскрытого чернотой гульфика грязных плотных штанов, в который погружалась его рука, чтобы найти её податливое текущее тело. Она закрывала глаза и с ровным гулом взлетала сквозь облака, а когда открывала на миг, то видела его волосы и брови и ощущала ровный стрёкот сердца и падала снова. Потом опять взлетала и пробовала эти облака на вкус, и они казались невероятно плотными и сладкими, такими, что, когда сладости стало слишком много, то она лопнула ярким всплеском и растеклась, выгибаясь по телу, расплавляя его жаром и дрожью.

А потом, очень неудобно и не вовремя, подбежал какой-то парень и, застучав в лобовуху, отвернувшись, прокричал, что их уже давно все ищут. И они побежали, застёгиваясь и смеясь. Штаны спадали, она хватала их рукой. Вбежали в клуб. Их сразу – в раздевалку. Шлем – не подходит, шлем – не подходит. Подошёл – похлопали. Парашют. Вес какой? Сорок шесть. Где они там? Минуту! Надевай. Так крепления велики. Уже пять минут движок работает! Вот этот пробуй. Тяжёлый. Ага, затянулись. Бегом-бегом. Дениска! А ты там! Бегом-бегом. На поле. Самолёт рычит двигателем. Инструк-

тор вопит. Сколько можно. Ветер! Ветер! По лесенке три шага. Тяжёлый парашют. Твоё место. Дениска... Его вперёд.

– Он – самый тяжёлый. Его вперёд! – прокричал инструктор, прижав свой шлем к её. По-другому разобрать что-то было невозможно. Двигатель орал прямо над ухом.

– Пошёл! – закричал он в кабину и повалил между рядами, чтобы закрыть дверь.

Со своего места ей не было видно Дениса, он сидел на лавке вдоль той же стены. Она взгляделась в лица людей напротив и вдруг почувствовала, что все очень напряжены. Посмотрела вокруг. Небольшое, тёмное помещение-цилиндр. Железо, провода, трубы. Осознание того, что будет через несколько минут, вдруг нахлынуло на неё. В эту же секунду самолёт взревел мотором и рванулся вперёд так, что она непроизвольно вскрикнула. Машина неслась, подпрыгивая на кочках. Каждый удар она чувствовала всеми внутренностями и уже начала твердить «ща взлетим, ща взлетим». Он очень долго не взлетал, и люди начали нервничать и оглядываться. «Наконец-то», – произнесла она про себя, когда почувствовала отрыв. Но самолёт тут же наклонился резко вбок, и женщина в дальнем конце салона крикнула, заплакал ребёнок. Пол под её ногами оказался мягким и прогибался от малейшей вибрации, самолёт вздрагивал вместе с порывами ветра, мотор то набирал обороты, то вдруг, казалось, замирал где-то позади. По салону пробежала стюардесса, ещё несколько людей заголосили. От следующего толчка

открылось несколько багажных дверей, и сумки посыпались на пол, на людей. Дети орал уже в разных частях салона, погас свет, салон трясся уже не переставая, и какой-то мужчина лез по спинкам кресел, вопя: «Помогите!» Вдруг раздался удар, как будто о стену. Все на лавках навалились друг о друга, кто-то соскользнул на пол. Перед её глазами прыгал круг света. Из-за него накатывался рокот мотора, который окружал их незримыми миллионами ртов, хлюпло разевающимися и слюняво обсасывающими смерть этой пачки людей, зажатых в тёмном и гулком мешке, беспомощных и не готовых... Орал дети, матери выли и прижимали их к себе. Измазанные соплями и рвотой люди катались по салону, и испуганные стюардессы, забыв на лице улыбки, превратившиеся в прямоугольные оскалы под стеклянными сферами глаз, орал на них, как на собак: «На место! На место!» Машина тряслась и переворачивалась. Людские шматы переваливались вслед за движениями железа, они защищались и спасали себя единственно возможным способом: открывая рты. А когда в борту неожиданно взорвалось отверстие и в салон ворвался поток света, ветра и близкого рёва мотора, она тоже раскрыла рот и это «а-а-а-а-а» вырвалось из неё наружу. «Ма-ма!!» – кричала она вместе со всеми. «Мне стра-а-ашно! Мамочка!» – кричала она вслед за теми, кто должен был сейчас умереть. «Мне стра-а-ашно!!» – выкрикивала она в страшное лицо, возникшее перед ней. Рука этого человека приблизилась к её носу, и её перетряхнуло от отвра-

тительного запаха. Голоса мгновенно смолкли, пространство вокруг наполнилось гулом мотора, стояли люди, готовые к прыжку.

– Посмотри на меня, – сказала лицо. – Посмотри... Так... Повторяй: «Я делаю, как они».

Она повторила.

– Вот так и повторяй, без остановки.

Она тупо повторила это заклинание ещё раз. Потом ещё. Как-то не заметила, как оказалась на ногах, как они, эти ватные ноги, потащили её вслед за ними к белой яме. Сзади на неё кто-то напирал и подталкивал. «Делаю... делаю... делаю...» – не понимая, что делает, судорожно хватая воздух, повторяла она до тех пор, пока не исчезла спина, создававшая видимость темноты впереди неё, и тогда её охватил такой яркий свет, вопля которого она не слышала ещё никогда прежде в своей голове – она твёрдо ощутила, что вот именно сейчас, сделав шаг в невероятную пустоту внизу, она полетит туда, ударится больно о землю и станет тьмой. Что-то бросило её вперед, она завизжала смертью, та рванула её, начала трясти в стороны, куда-то волоочь...

В полной тишине её напугали громкие, размеренные взрывы. Только через несколько секунд она поняла, что это – её дыхание. Никогда бы не подумала, что девушка может так судорожно и громко дышать. Как только она вспомнила себя, разом накатило и всё, что было прежде, и она поняла

тогда, что то, что видят её глаза, – далёкий горизонт, то, что слышат её уши, – легчайший шепот ветра, а то, что чувствует её тело, – ... Ей стало дурно, она поняла, что висит на верёвках в километре над землёй. Она потеряла контроль над глазами, и они, опустив голову вниз, увидели такую далёкую землю, такие мельчайшие машинки и невидимых почти людей, а надо всем этим чьи-то чужие, болтающиеся в пустоте ненужные ноги...

Она пришла в себя от странного, скрежещущего звука, словно что-то разматывалось. Она дрожала и долго, всё время, пока шёл звук, не могла понять – откуда же он, что произойдет с ней ещё. Вдруг звук прекратился, на животе её что-то щёлкнуло, и она вспомнила всё, что им говорили про запасной парашют. Он вывалился вниз, под ноги и начал медленной медузой всплывать кверху, растягивая её, как куклу, между двух ниточек.

Ни о каком обещанном наслаждении и речи не шло. Она болталась между двумя парашютами, как безвольная, зарёванная сосиска, и мечтала только о том, чтобы это всё побыстрее закончилось. Когда земля начала набегать, она попыталась сгруппироваться, как учили, выставить ноги, но не тут-то было. Второй парашют мешал ей принять вертикальное положение, и, как она ни пыталась выставить ноги вниз, у неё это так и не получилось. Она быстро приблизилась к земле и упала на неё, как мешок с пылью, гулко ударившись

шлемом и издав гортанный, звериный звук. Резко взвизгнула боль в левой ноге, которую она до последнего момента всё же пыталась выставить навстречу земле. Её шмякнуло ещё раз, потом потянуло. Она суетливо пыталась затушить парашюты, но даже и с одним ей было не справиться. Она цеплялась за стропы, а её всё тянуло куда-то, больно подбрасывая на кочках, она редела и цеплялась, а потом, когда её снова садануло головой о землю, перестала цепляться и только редела, до тех пор, пока движение не остановилось и над ней не появились встревоженные лица.

Её кое-как достали из упряжи. Она сидела, грязная, всклокоченная. Всхлипывала. Долго пыталась достать телефон, чтобы позвонить папе, чтобы он забрал её скорее. Но руки совсем не слушались. А потом подбежал Денис, и вытирал её лицо платком, и почти что бегом нёс её на руках до медпункта.

Было смурно и душно. Изображения людей за столиками подрагивали и терялись. Она была совсем вяленькая и, если честно, в кафе с ним поехала только потому, что «доча должна уметь прыгать...» Если бы не это, она бы точно уже ехала с папой туда, где её окружит безопасность и любовь. За время, пока ей перевязывали ногу и обрабатывали ссадину на лице, она отдышалась. Правда, на его попытки пошутить обо всём об этом она не реагировала, зато позволила заказать себе чаю и выпила его, взбодрившись. Когда она,

обняв горячую кружку ладонями, попивала чай, начался выпуск новостей по телевизору. Комментатор смачно вгрызался в цифры разорванных на части людей, исторгал радость, что знает новые подробности катастрофы. Влажные рты за соседними столиками жевали, не переставая; глаза поднимались к экрану с выражением сытого сочувствия и через секунду возвращались к пище.

Мамины глаза.

Её чуть не стошнило от такого открытия. Чай рванулся по горлу ярким ужасом смерти – словно кто-то толкнул её в белую пропасть. Подышав, она произнесла, что не вынесет этого, и Денис тут же устроил так, чтобы новости пропали.

Всю дорогу назад они промолчали. Сгустились сумерки, шёл мелкий дождь... Пару раз он начинал что-то говорить, но Лена неопределённо хмыкала в ответ. Старалась упираться ногами в пол – иначе казалось, что под ними дрожит пустота.

Подвезя её к дому, он спросил:

– Ну скажи мне, ты что – так перенервничала? – В его глазах дрожала искренняя забота.

– Дя-а уж... – Вдруг вырвалось из неё так резко и так противно, что слова не нашли себе продолжения, и ей самой сразу же захотелось, чтобы этого не было.

– Ну извини меня, пожалуйста, а? – попросил он.

Какое-то время Лена молчала, едва заметно порываясь то к двери, то к нему.



– Ну, пока, – наконец сами собой произнесли губки.

Она вылезла из машины и торопливо поковыляла к своей лестнице, не поблагодарив.

# ПОБЕГ

Лёгкая ритмичная музыка свежестью наполняла его и выплёскивалась наружу. Она прокатывалась по просторам рядов, поднималась по стволам стеллажей, шелестела под толчком, порождая клубы довольного тумана, волнами ниспадавшего на гипермаркет. Соединителей подходящего цвета не было (у него с собой был обрезок плитуса), и он примерял соединитель похожего цвета, но другой марки. Отодвинув получившуюся конструкцию от глаз, Андрей покачал головой. Деталь от другой фирмы совсем не подходила к его плитусам, вставала с щелью, да и не держала бы. Глупость. Он бросил пластиковый кусочек обратно и задумчиво пошёл в глубь полок, кончиками пальцев докасаясь пакетиков и коробочек, словно колосков тимофейки. Искать другую стоянку было уже поздно. Он вдруг почувствовал, насколько голоден. Не ел почти десять часов.

В ответственных переходах, бывало, не ел сутками. Однажды зимой они шли по Ладого. До Валаама рассчитывали дойти часов за пять и, по молодой глупи, с собой каждый взял только по термосу, паре батончиков, ну и НЗ, конечно. Ровно на середине пути подпрыгнула метель. Она била то в лицо, то в спину, безо всякого ритма. Снег выцарапывал глаза, а лыжи катились назад, несмотря на смазку. Они

решили переждать в палатке, но, когда через двенадцать часов кончился сухой спирт и встал вопрос о выживании, им пришлось подниматься и идти дальше. Это была одна из тех ошибок, о которых из чужого опыта узнать практически невозможно. Потому что не у кого. Свежие, они наверняка поборол бы эту выюгу за три-четыре часа. Усталые, голодные и замороженные, они шли в два раза дольше. Один раз он обернулся и не увидел Лёху. Чётко помнил, что не испытал ничего, никаких эмоций. Просто развернулся и пошёл по своим следам. Лёха медленными, чужими движениями двух стержней, которые были руками, пытался поставить палатку. Андрей молча ударил его по спине лыжной палкой, потом ещё раз. Палатка вырвалась и мгновенно исчезла в круговерти. Друг посмотрел на него так, что Андрей опустил голову перед ударом, но Лёха, ни слова не говоря, надел лыжи и поплёлся вперёд. Андрей пошёл за ним. Пуховки спасли их тогда от обморожения, а Андрей понял, зачем нужна борода – на щеках и скулах осталась память рубцов. Только через месяц где-то он начал жалеть, что не сфотографировал этот вид. Когда вдруг, сразу, так же, как она началась, метель упала на лёд, сверху очутилось солнце и, как ни в чём не бывало, зарезвилось на голубых куполах собора, позвавшего их назад из бескрайнего белоснежного простора, в который они ушли уже на добрый километр. Тогда был пост, и они, чуть вернувшись из чёрного сна, отстояли заутреню вместе с серьёзными тихими людьми.

Решение было элементарным. Он подобрал соединители и уголки той же фирмы, но более тёмные. Под цвет пола. Смотрелось даже солиднее, чем с оригинальными. Он порадовался работоспособности своего разума. С улыбкой, блестящей из глубины глаз, заскочил ещё на одну полянку, чтобы взять саморезы подлиннее – бетон понизу крошился, и короткие вылетали сразу.

На завтра был запланирован перевал. Поцапались с родителями и решили не дожидаться окончания ремонта. Осталась мелочь. Из основного: поставить вот плинтусы, повесить пару светильников, установить розетки. И недавно безликая строительским ремонтом однушка, или «адфуфка», как прикольно шепелявил Кирюха, становилась их родным домом на годы вперёд. Сантехника уже висела на своих местах, кухонька, икеевская своей простотой, но любовно собранная каждым винтиком, – тоже. Перевезти надо было только двухэтажную детскую кроватку да кое-какую посуду с одежкой. Он улыбнулся. У их семьи, несмотря на близость оловянного юбилея, почти ничего не было.

Желудок протяжно заурчал, хотя нет, скорее заблеял, когда показалась очередь. Но Андрей даже не подумал прислушиваться к этой мямле. Финишная ленточка ремонта уже зеленела опушкой новой жизни. Разве могли пятнадцать жалких минут в этом болотце повредить его уверенности? Он нажал зелёную кнопку и прижал к уху вибрировавший телефон.

«Да, любимая, – сказал он, улыбаясь. – Да, уже почти... Ага... Папа такой голодный, просто ужас... Спасибо, Веточка... А будет только картошка с мясом?» Он ещё раз, теперь хитро, улыбнулся, положив трубку в карман. Женщина, стоявшая перед ним в очереди, незаметно осмотрела его, сделав вид, что копается в сумке.

Прошло уже почти два месяца с тех пор, как они оживили гулкое чрево квартиры своими голосами. Это был их второй визит после подписания акта. Андрей бросил на пол в комнате свёрток полиэтилена, а Верка отнесла на кухню пакет с валиками, кистями и красочными банками. Однозначно было решено все перекрашивать и переклеивать, оставив от строителей только плитку в ванной – новую было не потянуть. Он уже прочитал, как (как два пальца) укладывается ламинат вместо линолеума, она – когда-то помогала родителям клеить обои... Он стоял уперев руки в бока, глядел в окно и улыбался незнамо чему, когда она подошла к нему сзади, обняла, тяжело дыша, как обнимала когда-то, и стала, не разрешая руками обернуться, расстёгивать и снимать с себя и с него... Когда они ушли поздним вечером, вздыбленный полиэтилен всё ещё пенно бурлил посреди комнаты, расплескивая безумный рисунок ступней по запылённой поверхности пола.

\* \* \*

Вера положила трубку на холодильник. Его игривость остро порезала. Даже не порезала, а проколола! Она машинально отмывала посуду и чувствовала, вернее, доподлинно знала. Несмотря на спокойный день, спокойный вечер, близость переезда, который означал исполнение её долгожданной мечты, она не чувствовала ни лучика. Скорее, наоборот, плотный чёрный квадрат удерживался ниточкой на самой границе зрения, и стоило сделать неверное движение в очередной безуспешной попытке разглядеть его сущность, как она, эта тоненькая нить, могла оборваться под неумолимой тяжестью, и Вера была бы раздавлена. Она подошла к шкафчику, взяла ещё таблетку успокоительного.

Время, когда в их жизни появилась Валька, вспоминалось как солнце, как свет после тёмной ночи, озаряющий путь не знавшим до этого пути людям. Её родители, у которых они поселились после свадьбы, разрывали бедный кулёк напополам, ревниво следя, чтобы ни одному из конкурентов не досталось больше Счастьюшка. Жемчужинка, игриво подглядывающая за взрослыми из пелёнок, беззвучно смеялась бубликом-ротиком, как будто знала наперёд, что ласка и любовь пребудут с ней навеки. Молодых родителей сладчайше отговорили от переезда в далёкий посёлок, где им предлагалась работа с жильём; их холили, лелеяли и самыми шпионски-ухищрёнными способами отсылали гулять и развлекаться, чтобы старые родители могли спокойно соревноваться в количестве пойманных Солнечных зайчиков-улыбок.

Что-то такое, только ещё более ироничное, она отправляла для публикации и очень ждала. Но её всё равно не взяли. И мать, Вера запомнила, сдержанно извивалась губами, узнав об этом, но всё же выпустила что-то вроде «детей рожай», и выражение лица мелькнуло, памятное с детства ещё, когда мать одними глазами, держа бумажки в вытянутой руке, читала Верины стишки. А ещё, когда у Веры однажды устала грудь, и молоко не шло, та проползла в ванную и до унижения больно и целеустремлённо нацедила нужную дозу, лишь бы отправить...

Ну а с Кирюхой всё как-то очень быстро наладилось. Стало таким, каким и должно было быть. Мать словно дождалась: округлилась и покрылась гляncем от этой новости. А тем же вечером в речи отца негромко звякнуло упоминание отдельной квартиры. Андрей тогда был в походе, и её очень обидели сладковатые намёки на то, чем должен заниматься настоящий мужчина. И Вера сама змеилась шёпотом, чтобы не слышала Валька, отвечала матери, что он в этой семье в подобных словах не увязнет... Он их и не слышал. Зато как аппетитно и сочно чвыркали по телефону успехи чьих-то первоначальных взносов, как за семейными ужинами обсасывались размеры чужих окладов. Отец, накашляв в кулачок, брал Андрея за руку и говорил, что есть у них место в институте, такое, что можно... Глядя на это, она мечтала поскорее освежиться глотком работы – им катастрофически не хватало денег даже на добавку к маткапиталу, а в школе с

нетерпением ждали её возвращения – но вырваться из детей она никак не могла. И Андрей именно после её жалоб стал всё дольше задерживался на работе, всё чаще выходить в выходные, жертвовать встречами в турклубе. Его было просто не выпихнуть в поход за новыми впечатлениями. Тогда-то и началась эта история с Тулой...

– Мама, мама, а можно мы ещё мультик посмотрим? – Вбежала на кухню дочка.

Она посмотрела на часы, был уже одиннадцатый.

– Ну ладно, пока папа не придёт.

Сказав так, она знакомо заметила тень нависающей вины, но ей нужно было домыть посуду, поставить Андрею... Прощала себя по мелочам – до той поры, пока у неё не появится то, чего ей так не хватает. Сомневалась – не будет ли поздно? Мелькучие мультики и яркие бабушкины игрушки засасывали неповинного ребенка.

Она несколько раз сравнивала фотографии с обеих выписок и не могла поверить, что эти женщины на фотографиях – её мать. Даже когда был подписан договор и ожидалась сдача квартиры, расстояние всё равно продолжало увеличиваться, как будто дельце было вовсе и не в квадратных метрах... С Кириллом по-прежнему никто не нянчился, ей было не отойти от ребёнка! Несмотря на это, Валька всё так же, даже более демонстративно, блуждала по дедко-бабкиным рукам. Но с показухой завершили вчера. Родители уехали на все майские на дачу, внуки остались в городе.



До последнего времени Кирюха много и опасно болел. И если дочка давала ей что-то писать, особенно когда была малепуськой, то с появлением второго ребёнка всё творчество было сначала отложено, потом забыто. Вера утонула в зелени бессонных ночей, в бормочущих рифмах лекарств, в интернетных рассказах и диагнозах, в сверлящем ужасе от ощущения безвольного тела, сорокаградусно стекающего меж дрожащих рук, от ночных пробуждений, разрезающих молнией: «Не дышит!» Вспоминая именно это напряжённое болото (не родовые боли), она даже представить не могла, где найти столько сил, чтобы решиться ещё раз. Ей казалось, что за последние три года она перечувствовала столько, сколько ни одна мать никогда не испытывала, по крайней мере, это касалось отражённого в литературе. Беззащитное младенческое тельце на фоне хмурых вековых елей. Она как-то попыталась описать это словами мужу, родителям, подругам, но или слова в спешке вылетали не те, или они их ловить не пытались... Ни родители, ни муж не понимали её, не поддерживали. Андрей самым больным кусочком отдалялся от этого непонимания: он, бесспорно, жил только для неё и детей, но вся помощь у него как-то скатывалась к деньгам, к выматывающей пашке на работе и дома – словно только этого она от него ждала, словно он видел в ней только голодное тело. Всю суету воспитания двоих детей, все ужасы болезни она переносила одна, совершенно одна. Копила в себе впечатления, берегла нежно чувства, не делаясь ими даже

с больным ребёнком. И ей уже давно и невероятно сильно, до полового возбуждения, до набухания сосков, хотелось излить эту бесконечную точку чувств, стройными и ровными рядами слов заполнить окружившие трещины, чтобы заставить хоть кого-то повиниться и приблизиться. И вот теперь, когда Валюшка осенью шла в школу, а Кирюха – в садик, в их новой, пустой и тихой квартирке из-за хмурых, нависших над листом бумаги туч должно было засиять ясное, понятное солнце. Несмотря на то, что в одиночку тянуть кредиты было очень непросто, Андрей был не против, чтобы она вышла на работу не в сентябре, а, например, после зимних. По крайней мере, ещё совсем недавно они на это рассчитывали...

«Может, не говорить?» – хрустнула вдруг ей мысль. Такая голодная и неизбежная, что ноги сами подошли к шкафчику, а руки сами достали ещё одну таблетку и поднесли кружку ко рту.

– Чего глотаем?

Он подкрался настолько неожиданно, что она поперхнулась водой. Он стучал её по спине, но она всё задышалась. Не могла никак остановиться, опустилась на корточки и долго, до рвоты, кашляла.

– Извини, извини, – лепетал он, – извини, пожалуйста...

Она подняла лицо и захлебнулась в брызгах его испуганных глаз, и слёзы смели горным потоком. На пороге стояли взволнованные дети. У Кирюхи лицо уже было готово излиться, как набухшая губка в чьем-то кулаке.

– Идите... Идите... – ревела она ему и махала рукой в сторону комнаты. – Это я... нервное... у меня... сейчас...

Она просто сидела на полу и плакала... Потом просто сидела... Потом пошла в их спальню и прилегла... Слышала, как он загоняет детей в бабушкину кровать, что-то недолго рассказывает им.

– Всё нормально? – Заглянул он к ней вскоре.

– Да, любимый! – ответила она.

И только когда зазвенела посуда, она вспомнила, что муж до сих пор не ел.

Она лежала на спине, чёрно смотря в темноту. Он тихонько зашёл в комнату, и её сковало ещё надёжнее, когда она услышала, как он снял трусы, а ночные не надел. Зевнул глубоко, повертелся, и через мгновение она ощутила его руку на своём животе, потом ниже...

– Ты хочешь? – идиотски прошептала она.

Он как-то упёрся вдруг, убрал руку. У неё задрожали губы, и тело неосознанно, порывом, двинулось к нему.

Андрей отвернулся к стене и сжал зубы до скрежета. Главное – не заорать, почему-то шепнула мысль. Только через несколько секунд он ощутил, что всё его тело напряжено до последней степени, как бетонная балка. Он задышал и стал потихонечку возвращаться в человека, опадая частями на матрас и на подушку.

Противно было не то, что он так быстро, не наслаждаясь, кончил, а то, что в её сухости и прилежности всхлипов он окончательно уяснил для себя полное отсутствие желания. В такое унижение он не верил, такого ещё не испытывал от неё. По сравнению с тем сказочным вечером в квартире, когда она, как раньше, приказывала хриплым, почти мужским голосом: «Ещё хочу», когда он снова почувствовал себя сильным, поверил, что она снова любит, когда её солнечный жар поглощал и уничтожал его сознание до самой вспышки, это было – словно труп насиловать. Да даже по сравнению со всеми теми редчайшими ночами, что были у них за последние годы, которых он тихо и понимающе ждал, в которые любил её искренне, а она молча лежала на спине... Понятно, что при родителях невозможно; понятно, что, когда дети спят в соседней кровати... Хотя почему невозможно-то! Ведь было же у них раньше везде, даже в машине... А теперь «я не могу», «потом»... «Я люблю тебя, честно», а тело говорит совершенно обратное... И на его слова о любви, о ласке, на его просьбы открыться, поговорить, стать ближе – то же, то же...

Он очень жалел её. В детстве у него был один приятель по турклубу. Он был «экономным», не верил, что в его рюкзаке лежат общественные продукты и предпочитал есть пищу со спин своих товарищей. Владимиру Филиппычу, тренеру, перед одним дальним походом на это пожаловались, но он сказал ребятам не обращать внимания. К концу двухнедельного путешествия парень упрашивал идущих налегке спут-

ников скушать что угодно из его набитого, как и в первый день, рюкзака. Но ему никто не помогал.

Обида уходила, в отличие от неприятной пульсации в промежности. Он усмехнулся над ноющим ощущением своего бессилия, вызванного редчайшим употреблением инструмента: натянутая до предела ниточка, постоянно напоминающая о неудовлетворённости жизнью, была готова оборваться сразу. Ходя по улицам, он теперь отводил глаза от встречных женщин. Но она его всё же держала, держала настолько крепко, что даже и прямой взгляд (он уже знал это точно) не мог ничего изменить. Он был вынужден, он просто должен был сжимать зубы, не замечать ничего вокруг и всё продолжать, продолжать, продолжать этот становящийся бесконечным рассказ.

Не спал долго. Перелезал через спящую в туалет. Ему почудилось, что она всхлипнула. Он приблизил глаза к её лицу. Вера спокойно и глубоко дышала.

\* \* \*

Валя проснулась с первыми лучами солнца, которые тёрлись у неё в глазу и щекотали нос. Какое-то время она не могла понять – где, но потом вспомнила, что это огромная бабушкина кровать и что они с Кирькой, как большие, спят сегодня отдельно.

Она сразу стала серьёзной, сходила в большую комнату и

принесла свою любимую Дашу. Надо было её расчесать перед тем, как вести в школу. Даша уже умела читать, и считать, и писать, и в школу идти ей было не страшно. Ведь это была бабушкина школа и, значит, почти что её.

Даша переезжала скоро в новую большую квартиру, где она становилась такой же хозяйкой, как мама. Ей очень нравилось быть хозяйкой, как мама, а ходить в походы – не очень. Бабушка говорила всегда, что в походы лоборясы ходят. Лоборясы там, видимо, молились лбом о землю, и, хотя она папу ни в чём таком не замечала, всё же переживала, когда он изредка уходил в походы, а с ним ходить отказывалась, чтобы случайно не стать лоборясом.

Проснулся Кирька и полез к ней обниматься. Она его тихонько оттолкнула, шепча Даше: «Понарожают тут...», и он сидел на краю и смотрел с зелёной соплей из носа, как Даша учится в школе, а потом пошёл к маме.

\* \* \*

В Тулу он ездил несколько раз. В первый раз был там как технический специалист при директоре по закупкам. Заводик ему понравился, он был похож на те европейские заводы, которые показывают по «Дискавери». Слесари сидели рядами за чистыми, новыми верстаками. По проходам, разлинованным жёлтыми лентами, ездил электрокар. Речь шла о газовых датчиках и клапанах. Качество продукции у них

проверяли заранее – покупали образцы, теперь проводили инспекцию производства, системы качества.

Система оказалась в порядке, технологии – также на уровне. Кроме этого, ему польстило уважение, с которым к нему, рядовому технику, относится начальство поставщика. Возили на охоту с ночёвкой. Он, опьянев, рассказывал про ориентирование в ночном лесу без компаса и, кажется, даже тащил с собой директора проверить знания на практике. Но его, очевидно, не пустили. Хозяин завода сам отвёз их на станцию, всучил дорогой коньяк каждому.

Чуть спустя после заключения контракта дирзак пригласил их в выходные на дачу. Киря опять болел, Вальку бабушка куда-то потащила, и он поехал один. Конечно, он не очень разбирался в ценах на недвижимость, но, увидев домик своего коллеги, сразу понял, что о мечтах по приобретению однушки здесь говорить не стоит. Больше всего ему запомнился навес, под которым блестели две одинаковые машинки, марка которых умножалась на 6, а серенькая «Мазда», на которой её хозяин ежедневно посещал работу, тихонечко грустила в стороне, под открытым небом.

Может быть, он и не стал бы этим заниматься, но все его друзья, и по клубу, и по жизни, давно уже при обсуждении источников дохода перестали употреблять обороты типа «ворует», «взяточник». Они говорили в том духе, что: «приподнять», «подогнать», «занести», обсуждая всякие разные схемы. Кому он не стал бы о таких вещах говорить, так это

маме с папой. Но папа давно уже умер, оставив ему в наследство развалюшную «девятку», мама болела, потерялась совсем в своей миллиметровой хрущёвочке на окраине. В общем, он не то чтобы был против, просто не готов был к тому, что и с ним может приключиться такое.

А с годик где-то назад, в июне, он ходил в крайний, как пока выходило, поход. Группа «четвёрка», категория 2А. Это был Эльбрус – мечта его юности, почти забытая мечта. Всё сжалось, чтобы уместиться в рюкзаке за плечами. На протяжении одного дня движения радостная зелень несколько раз сменялась скупым каменным пейзажем: горные долины оканчивались перевалами так же незаметно, как жизнь, и так же незаметно перевалы превращались в новые долины. Голод мозга затуманил сознание, а скорее – прояснил, и казалось, а скорее, так и было, что он снял с себя какую-то накидку, лишнюю накидку, и что чем выше он поднимался, тем больше он соединялся с богом, а может быть, становился им, и был такой период озарения, когда Андрей заключался только в ощущениях силы, разжёванными комочками вползающей в пищевод, свободы, выталкивающей испражнения быстрым толчком, и опоры, равномерно встречающейся со ступнями в скарпах...

Выбирать экип было сложно до наслаждения. Улыбка уютно устраивалась где-то меж сердцем и желудком, когда он бродил глазами в сети или ощупывал вещи на полках магазинов. Это было впервые – он мог позволить себе не дорожить



каждой надменной бумажкой. Словно зная читкод на безлимитное золото, он прокачивал персонажа, составляя идеальную комбинацию из артефактов, которые должны были занять отведённые в рюкзаке квадратики. Лёгкость и универсальность мембраны долго боролись с испытанной надёжностью флиса, а вот потный начёс штанов сразу уступал, понурившись перед свежестью качественного термобелья; грузная горнолыжная маска всё никак не могла ужиться с лицом, влюбившимся в заливчатские альпинистские очки, но всё же презрительно взгромождалась на нём поверх банальных надоевших оптических, от которых никак нельзя было сбежать к легкомысленным линзам, а тяжесть не нужного по правде, но такого бы brutального на фотографии ледоруба, даже во сне являлась не раз, заставив в итоге выбрать бабкоподобные, но реально полезные трекинговые палки. В результате этой полугодовой драмы был вылеплен весёлый и довольный герой, которому свежо и тепло одновременно, ступни которого надёжно защищены и от порезов, и от вывихов, и от влаги, глаза, хоть и с грустинкой опыта, но зато далеко видят, а в рюкзаке, в рюкзаке есть свободный объём и запас в четыре килограмма, достаточный, чтобы поместить туда огромное полотно для вершины с надписью «Вера, я тебя люблю!», ну и для себя триста граммов – красный шарфик любимой команды, чтобы она снова зареяла на вершине, как раньше.

Лёха сильно помог с пропуском. В последний момент в их группе была произведена замена, и место заболевшего па-

ренька из Омска заняла девочка из Москвы. Если бы не Лёшкина должность, им пришлось бы на ходу менять проработанный маршрут, который несколько раз пересекал пограничную зону. Это могло означать отмену всего мероприятия. Ещё Лёха не правильно (в плане правил), но очень хорошо поступил, согласившись, что Андрей будет руководителем группы. Для Андрея поход такой категории в качестве руководителя был первым, и это было очень важно для него.

С Лёхой они понимали друг друга без слов, шли в удовольствие, с большим запасом, любуясь природой и близостью их знакомой смерти. Молодой шёл уверенно, хотя и видно было, что на пределе. А она... Она удивляла каждым движением. Её тело – упругий горный поток – вливалось в природу непрерывною мягкой силой. Под весёлой рябью ощущалась опасная тёмная глубина, а случайные всплески лица надолго оставались на роговице звенящим отражением солнца. На трёхдневной акклиматизационной стоянке в начале маршрута она плотно занималась с ним скалолазанием, и к концу третьего дня Андрей уже мог худо-бедно за ней угнаться. А когда на четырёх с половиной молодой упал в снег, стал кричать, что видит бога (выражая, в принципе, общее чувство), а потом катался в снегу, опасно натягивая страховочный трос, закрепленный на Лёхином поясе, именно она отцепилась от Андрея, спустилась вниз по склону и, схватив за ворот, начала хлестать поражённого по щекам до тех пор, пока он не осел в снег...

В вечер перед выходом из гор все отдыхали после ужина, после утомительного испытания. Он рассказывал байки, ребята с интересом слушали, а она смотрела в его глаза неотрывно, так, что рассказ то и дело начинал подрагивать в пламени. Лёха быстро пошёл на боковую, потом подозвал в палатку и молодого. Они остались вдвоём у затухающего костра. Андрей продолжал что-то говорить, она смотрела на него, чуть наклонив голову. На середине фразы потянулась и поднялась, чтобы идти в свою палатку. Оглянулась.

И именно тогда, тем утром, около шести, его разбудил звонок. Схема была простая: вместо более дорогого заводского литья поставлялись идентичные китайские клапаны с перебитым штампом. Минувшей зимой на морозе полетело лишь несколько корпусов, но были обратные удары, кто-то даже горел. Когда расследование завершилось, он оказался в числе крайних. Конечно, доказать ничего не смогли, но...

В большом подвале краснокирпичных стен, где их положили спать тогда на Валааме, пожилой серьёзный монах будил молодого послушника, которому никак было не очнуться к пятичасовой молитве: он подтащил тело к бочке с ледяной водой и мягко, но неборимо сильно окунал сопротивляющуюся голову в воду: «Я же говорил, Серёженька, пора молиться, пора, милый, пора, пора, пора...»

\* \* \*

Вера готовила завтрак, старалась не шуметь. Хотела, чтобы он отоспался. Сама долго не могла заснуть – тонула в густой зелёной трясине, пробираясь в ненадёжной музыке опор. Опоры эти были старыми образами, уже давно до мелочей изученными и заменёнными (как целые выражения заменяем на икс и на игрек) на цвет и квадрат, или на волну и укольчик...

На скользкой и круглой нужно было удерживаться, читая других в журналах в редкие минуты, свободные от домашнего котла. Когда совсем отчаивалась, урывками тренировалась, чтобы доказать себе, что ещё дышит. Плескалась иногда в дневнике, наполненном самыми беспросветными глубинами (если Андрей нашёл бы его и прочитал, она, несомненно, умерла бы). Был ещё давно забытый бложек... Сначала он наполнялся щебетом историй, которые приносил из походов муж, но по мере того, как близились холода, пришлось перескакивать с походных заметок на рецензии. Она немного хитрила тогда, замедляясь на чём-то совсем забытом (например, из уничтоженных в 30-е годы) или забегая на свежие переводы – это помогало, у неё была пара публикаций... Но чтобы написать своё, желанное, словно равновесия не хватало, опора крутилась под ногами, на шее висели тяжёлые дети – те несколько ответов, говорившие, что нужно добавить ещё чуть-чуть, издевались верёвкой, висящей в нескольких сантиметрах от пальцев вытянутой руки.

Когда она соскальзывала, то погружалась в плотное небы-

тие ватного одеяла. От неё удалялись дети, муж, родные, подруги, а рыхлые стебли идеалов, колышущиеся на плакатах, страницах и экранах, вырывались с корнем, изламываясь в судорожно сжатых кулаках. Подружки сладко душили её сочными словами с поверхности, их мужья или ухажёры там были упругими и твёрдыми, могли выдерживать их самые разноцветные желания; Андрюха сразу тонул под её весом, в сравнении с теми он был сморщенный, сдутый – его словно хватало только на что-то одно. Когда он наконец начинал расти и приносить большие деньги, она с хрипом втягивала в лёгкие радость, поднималась опять наравне со всеми, жила. Но он снова сдувался и исчезал в душной тьме. Она рыдала всегда, когда во сне чувствовала, что это из-за неё он задыхается, умирает в муках. Лепетала бессвязно, что не она виновата, что вещей нужно совсем немного, меняла тему и ритм, чтобы наполнить его желанием новых походов, убеждала, что лишь немного свежести не хватает для публикации, но видела по его глазам, когда они глядели в её, что делает она это неуклюже, наигранно, и он ей не верит, видит её истинный, денежный интерес. В этом его взгляде было что-то самое простое, воздушное и просторное: веточка, верёвочка, за которую она могла бы ухватиться, чтобы он её вытащил и прижал к себе; то, что он знал всегда, а она, узнав от него однажды, случайно забыла. Но он молчал, а она очень боялась спросить (он мог подумать всерьёз, что она его разлюбила) и мучительно, в полусне, пыталась вспомнить, но

никак не могла.

Именно эта, забытая, нежная и тонкая, была для неё самой страшной из опор. За неё она когда хватывалась, та непременно рвалась, и Вера скользила в глубину... Если бы Вера попробовала отыскать её начало, опору опор, то не хватило бы, пожалуй, и десяти лет, так прочно, так надёжно зарастают такие. Ей иногда, когда совсем не оставалось сил, хотелось в голос, в визг кричать: «Я люблю тебя!!! Скажи мне!», и, сливаясь с ним в одно напряжённое чудо, погружаться в возбуждённый влажный жар ожидающего спальника. Но из ответной тишины на неё смотрели добрые глаза, и пустота за ними так отчётливо проступала сверкающим простором на склонах, что она от неутолимости желания и от ощущения собственной вины снова начинала задыхаться и, обессиленная, отдёргивала занавеску завтра.

Она сходила в комнату, чтобы шикнуть на расшалившуюся молодёжь:

– Скоро есть пойдём... Тихо!

По пути на кухню не удержалась, провалилась в зеркало. Там сидело что-то страшное. Чёрный клочок волос и два прилипших над красными щеками глаза. Ей было не оторваться от этого зрелища и очень хотелось плакать. Но слёзы словно устали вчера, вместо них сразу подступила тошнота. Что же будет? Ей вспомнилась красная маска стыда, налипшая на лицо, когда муж, понурившись, сидел напротив неё после возвращения из похода. Бывший директор по закупкам

предлагал уволиться и перейти с ним на другую подобную работу. Андрей только что рассказал ей всё и ждал её решения. Она смотрела на его лицо и отражала его своим, и, отражая, начинала чувствовать в себе его сознание. «Разведусь!» – заставила она сказать себя раздражённо, но злость, она это долго помнила, была вызвана прохладной и просторной, как двадцатилетний кредит, мыслью, что лучше бы он ей этого не говорил.

В их комнатке на стене висит фотография разрушенного храма, сделанная в одной из поездок. Веру потрясла тогда удивительная простота: такая, что всё объяснит разом, но которую никак не понять. Бросили машину, около часа с Валькой в кенгуряшке шли по дремучему лесу, и вдруг, прямо посреди леса, на малюсенькой свободной от деревьев полянке – громадная развалина изувеченной пятиглавой церкви. Кое-где остатки штукатурки, на стенах изнутри – контуры фресок видны, на полу обрывки газет пятидесятых каких-то годов... Ни надписей, ни кострищ, какие обычно бывают. Только лес и брошенная церковь, простирающая башни, в которых, если поднять голову, виден пустой круг неба. Вера никому никогда не признается, что часто, почти всегда, оставаясь в квартире одна с Кирюхой, идёт к этой своей иконе, встаёт перед ней или садится и долго про что-то на неё смотрит.

«Мицаль» разбирался быстренько. В его инструментальном ящике аккуратно хранились все необходимые ключи. Пока он не мог понять – за два или за три раза удастся перевезти эту хреновину. На улице было солнечно, впервые по-настоящему жарко. Руки знали байдарку наизусть, он мог разбирать не глядя и быть уверенным, что закончит секунда в секунду.

Скоро придёт Верка, отводившая детей к подруге. Они спустят заготовленные несколько рюкзаков – она лёгкий, он тяжёлые; он будет прилаживать на дуги части детского сонного плавсредства, а она будет помогать ему, натягивая и придерживая верёвку и улыбаясь в его глаза. После этого он обнимет её крепко-крепко, она поднимет лицо к его радостному поцелую, и они оттолкнутся вниз по течению. Вода будет смешно шепелявить, ветер – провожать их, прикольно путая ей волосы, улетая вперёд и оглядываясь на них шепутным барбосом. Только этого не будет никогда. Он уже не верил, что когда-нибудь услышит её смех. Веточка зацепилась за наивные мечты, отстала, словно потеряшка на маршруте. Её нельзя было упрекнуть за это – он знал не понаслышке, насколько сложно брать высокие перевалы без кислородных баллонов. Когда каждую секунду приходится перебарывать считающий, что он умирает, организм.

Сам он уже давно шёл без допинга. Не мог же он, честно выполняя приёмочные процедуры, выпуская паспорта, ду-



мать не о стоящих перед ним датчиках, а о снежном покрывале пены, лежащем на воде плёса. Но даже когда он, усталый, возвращался домой и пытался начать свой дневной рассказ, она его быстро прерывала. Будто не находила в этой его жизни ни штриха красоты, сколько бы он ни старался в своём красноречии. Будто единственным результатом его нынешнего похода становились утекающие на еду и одежду деньги, а не допущенные им в работу приборы, поступающий на объекты газ. Глаза её (как-то слишком привычно) загорались только тогда, когда они отправлялись в походные воспоминания или в его следующий поход. Он тогда смотрел на неё, и скулы сводило, как в начале, но ему приходилось опускать глаза. И он через усталость переключался, пытался найти какие-то воспоминания, которые она ещё не слышала, всё чаще придумывая небылицы; и он вдумчиво и неспешно собирался в новый поход за историями для её невоплотимых рассказов, ощущая себя актёром, а точнее – куклой; а когда она показывала ему свои наброски, он с грустью старался найти в них искорки настоящей жизни и очень хотел бросить бумажки на пол и схватить её, прижать обратно к себе. Слушал с улыбкой её шёпот, кивал, иногда не попадал. Всё вспоминались беспомощные слёзы экономного паренька: незаметно наблюдал из кустиков, как тот, оглядываясь и вытирая нос, выбрасывает в яму и прикрывает мхом надоевшие тяжёлые банки с тушёнкой.

Подготовка к покупке через опасный перевал, к приоб-

ретению автомобиля или квартиры – это ведь уже сам поход! Получение данных и обработка коммерческих предложений, принятие решения о маршруте, набор команды, расчёт средств, выверка диеты, поиск кредита, проработка вариантов с маткапиталом и инвентаря с минвесами, заключение договора и подготовка карт местности, получение бумажек от соцотдела, КСС и погранцов – полная, кипящая жизнь! Сам же поход – серые будни – всего лишь движение по верному маршруту, степень комфортности которого зависит только от уровня походника, подбиравшего экипировку. Ждать покупки и момента использования новой вещи, пусть даже самой сложной категории, – как использовать бэушку, как жить наполовину, после кого-то, кто живёт уже сейчас и использует эту вещь до тебя. Почему она не понимала его? Не замечала красоты в том, на что они тратили подавляющую часть своей жизни? Или думала, что только на природу можно повесить настоящие ценники, только по этому поводу достойно сравнивать свои впечатления со впечатлениями других? Так и не расслышала, что только у того всё есть, кому ничего не нужно? Когда ему лет шесть назад предложили переехать в Терскол, на постоянную работу с бесплатным жильем, он и не думал даже, что они упустят такую удачу. Но она как-то не прочувствовала, затянула с ответом, а он не стал настаивать, и она... они приняли решение отказаться; потом грусть об этом мелькала всё реже; а потом вроде и совсем жизнь наладилась – договор займа был подписан... Но

последнее время он всё же давал себе волю посомневаться: правильно ли устроено взаимопонимание в их семье, что в поход он идёт больше для неё, и, хотя идёт один, чувствует, что она рядом, а работает, зарабатывает деньги – опять же для неё, и, хотя она при этом рядом, он чувствует себя одиноко.

Он разогнулся над разобранной кроватью и загляделся на яркие лучи, льющиеся из-за окна. Разбежался и нырнул: из душной бани – на молодой солнечный простор. От света и холода захватило дух. Середина июля. Яркое солнце. Жара. Плюс десять. Рядом с душевной, неизвестным трудом подаренной избушкой, – походная баня на берегу студёной реки: здоровая куча камней, разогретая под старым костровым тентом. Заброшенный рудник в Хибинах, полностью оснащённый и остановившийся по мановению, как в сказке о спящей красавице. Ржавые тросы, покрытые мхом, замершие подъёмники, тележки с породой. И ледяная вода, которая стала живой на одно остывающее мгновение. Выбрался. Снял тент. Начал заворачивать в него кровать, закрепляя скотчем. Валюшка как-то спросила: «Папочка, а почему у них такая машина?» Верка молчала и копала палочкой золу в костре. А неподалёку от их перечиненной «девятки» стоял «кукурузер» каких-то малолеток, приехавших купаться. Ну конечно: сбор справок, утилизация, льготный кредит... Он посмотрел на стену. Удивился. Верка когда-то успела снять все картинки. Среди них была та, сказочная, с рудником и

избушкой. Пусто белели ряды прямоугольных пятен.

Он заканчивал копошиться над кроватью, когда она вошла в прихожую.

– Привет, Ветусик! – Он выглянул из комнаты. – Ты уже всё собрала?

– А... – задумчиво ответила она.

– Я разобрал – поможешь мне с синим рюкзаком?

Она была уже на кухне, о чём-то звякала ложкой по кружечным стенкам.

– Я утомилась что-то. Подожди, – шёпотом сказала, а может, подумала она.

Но в прихожей затихло уже шуршание материи, входная дверь тихо хлопнула. Чужая квартира наполнилась странной городской тишиной, когда, не явно для органов чувств, но для подсознания неоспоримо, что-то протяжно, тонко и надрывно звенит.

\* \* \*

Он каким-то невероятным образом уместил в их «калинке» все рюкзаки, а на крышу взгромоздил кровать, превращённую в огромный скотчевый кокон. Она реально тупила и путалась у него под ногами, держа в руке непонятный кончик верёвки. По пути домой её стошнило – она еле успела забежать в кусты – и теперь во рту поселился тот знакомый,

противный и неустранимый ничем привкус. В конце концов он привязал всё сам, своими коронными тройными узлами и, утомлённый этой беготней, отдуваясь, хлопнул водительской дверью. Она села рядом.

Какое-то время ехали молча. Он не набирал больше сорока. Он был, как всегда за рулём, собран. Шины шептали ему что-то своё, она – задумчиво смотрела вдаль. На её стороне была тень, его половина заливалась жёлтым светом. Жара бросилась на неё, выступил пот.

– Дюшенька, прости меня, а? – сказала она нежно.

– За что? – Он не отвлекался от дороги.

– Я вчера...

– Да ладно... Ты – извини... Пристал там...

Они проехали под кольцевой. От кольца до их квартиры было всего несколько минут. На маршрутке – пятнадцать до метро.

– Андрюша! – Она придвинулась к нему и посмотрела в лицо. – Я тебя очень. Очень-очень. Очень-очень-очень сильно люблю. Ты мой самый любимый человечек на свете.

Она докоснулась его руки, и они вместе переключили передачу.

– Честно? – спросил он, не оборачиваясь.

Она подождала... Улыбнулась окончательно.

– Нет, конечно. Я тебя обманула. Ты – мой третий самый любимый человечек на свете. Дубина.

Он наконец бросил ей кусочек взгляда.

– Ну вот, всегда у вас, оглоедов, папа на последнем месте!

Она улыбаясь смотрела на его весёлое лицо. Подняла ноги на сиденье и развернулась к нему. Наверное, десять тысяч километров они так проехали.

– Меня бесит, что ты ничего мне не говоришь, – наконец сказал он. – Молчишь, молчишь... А я так редко с тобой бываю...

Ей пришлось открыть рот, чтобы вздохнуть.

– Ничего, Дюня, скоро. Валька в школу пойдёт, спиногрыза в сад сдадим. Я на работу пойду – полегче будет. Вечером будем играть в карты. Будем ездить с тобой снова... А хочешь, я с сентября пойду?

Но он опять ничего не ответил. В его глазах мерцали искорки дороги. Она смотрела на него не отрываясь.

Он ей не понравился с первого взгляда. Был какой-то дикий, природный, по сравнению с её друзьями, с которыми она, в основном для новых ощущений, изредка ходила в походы. Но на одной стоянке он заговорил. И она пропала в его голосе. Очнулась в волшебном мире студёной свободы, полустёртых временем тропинок, говорящих деревьев, ручных птиц и застывших в полёте водопадов. Хмурые горцы расцветали в улыбке от её доброго приветствия и откидывали полог, скрывавший очаг с вкуснейшим свежим шашлыком; забытая белая бабушка рассказывала ей, как одна девочка сбрасывала целый состав в реку; маленькая прибранная избушка ожидала её в самой глубине непроходимой тай-

ги. Он стал её свежестью, её светом. Их называли «двойной человек». А им, кроме друг друга, ничего и не нужно было. Они не могли расстаться. И спали... Она вздрогнула... Спали всегда вдвоём, в одном горячем, сплавливающем их воедино спальнике.

Она села в кресле ровно. Посмотрела на стекло за окном. Руки прилегли на живот.

\* \* \*

Конечно, это была глупость, но он ничего не мог поделать с походной привычкой. В один рюкзак забил и кровать (чуть не умер тащить эту тяжесть), и весь прочий скарб. Они с Веркой поместились с самого края, и ему пришлось прижать её к себе, чтобы смогли закрыться двери. Когда лифт с протяжным звоном открылся на девятом этаже, он с облегчением высвободился из этой неудобно застывшей позы.

Он полюбил её сразу так, что пришлось уйти на какое-то время от лагеря, чтобы вновь научиться смотреть без слёз. Уж очень гордой она была – рвущийся алый флаг посреди сухостойного безветрия. И её друзья, взмахивающие изящными руками, рассыпающие рифмованные фразы... Боль неизбежной потери подступала, стоило лишь поднять глаза. Они шли короткий – с двумя ночёвками. И на крайней, после ужина, что-то взорвалось: он ответил на её вопрос, потом ещё на один. Потом костёр стал затухать, друзья – распол-

заться по палаткам. А она смотрела на угольки, и он смотрел на угольки, и говорил, и чувствовал, что она видит его голос, что только он удерживает её, что больше ей ничего не нужно. Поэтому говорил, говорил, говорил... Потом они ходили всегда вместе. Даже за дровами и за водой. И спали вдвоём в их «семейном» спальнике, и он постоянно что-то шептал ей на ухо. А однажды какой-то из молоденьких спросил, подшучивая, как им удаётся спать вдвоём в одном спальнике. «А нам, в принципе, не удаётся», – ответила она хрипловатым голосом, толкая палочкой уголёк в костре.

Это был самый счастливый момент в его жизни.

Муж вытаскивал вещи, а она, замирая, пошла вперёд. Пятно двери приближалось, заполняя собой всё пространство. Она неосознанно надавила на ручку и потянула дверь на себя. Было закрыто. Вспомнила вдруг про ключ. Щёлкнула замком, снова бережно надавила на ручку и отступила на шаг. Дверь медленно отворилась. Пахнуло плотным духом обойного клея; на полу напротив окон валялись куски солнечного света; бетонное пространство звенело гулкой тишиной, приглушённо слышалась работа Андрея. Вера наполнила комнату и кухню гулом быстрых шагов, раскрыла окна пространству. Огляделась. В их новом обиталище было совсем пусто, ещё очень многое надо было покупать, а денег после кредитных выплат почти не оставалось.

Андрей заносил вещи в комнату, и она ушла на кух-



ню, чтобы не мешать. Он переоделся и начал прикручивать  
плинтусы. Вера вошла с кружкой в руке и встала у входа,  
опёршись о стену.

– Хочешь чаю?

– Нет пока...

Она стояла, отпивая, смотрела на него. Квадратик солнца  
тёрся об её ноги. Решилась.

– Почему всё так как-то... У нас с тобой. А?

Он на секунду приостановился, сделал неопределённый  
жест. Ответил, не прекращая крутить:

– Ну я ж говорю: всё чудесно... Просто ты – нервная...

– Знаю, – выдохнула она. – А почему, а?

Он продолжал закручивать.

– А? – напомнила она.

– Может быть, тебе чего-то не хватает? Как желудку.

– Мне? – Она даже поперхнулась от радости.

– Ну да. – Он тоже засмеялся. – Когда желудку не хватает,  
он переживает.

– У нас же всё есть... Что ещё нужно?

– Не знаю... Что-то всегда нужно...

– Злишься на меня, что тогда не переехали?

– Куда? – спросил он удивлённо.

– Ну туда, на Эльбрус!

– Да нет, конечно... С чего ты... Я и забыл уж...

Они замолчали. Андрей прилаживал очередную планку.  
Она рассматривала сверкающие горы за окном. Они были

далёкие, безжизненные. Казалось, что все целиком покрыты холодным светом снега. Могло ли быть, что где-то там, у подножья этой сказки, в своём маленьком домике сейчас грелись, обнявшись у горячего очага, дружные люди? Отец, который занимался своим любимым делом и кормил от него семью; дети, выраставшие в тепле и заботе, в любви и сочувствии, дыша свежим, здоровым воздухом; мама, которая растила детей, отдавала им и мужу себя без остатка, но по вечерам, по ночам, полная счастливой энергии, улучала секундочку, записывала в свой дневничок будни свободной семьи, полные яркой и широкой, как горные просторы, жизни, будни, которые для многочисленных усталых городом людей стали ярким откровением, гремели по стране новым словом. Она представила это так ярко, что ей даже показалось, что слышит шорох фланелевой одежды, когда их руки поднялись для прощания. Она тоже потянулась вперёд, чтобы ответить, но опомнилась. Она теперь не догадывалась, она твёрдо знала, что испытывает человек, находящийся на вершине своей заветной горы.

– Теперь ведь у нас всё совсем хорошо? Дети, квартира, машина! – задохнувшись от нежности, сказала она. – Ты меня честно любишь?

– Да, Веточка. – Андрей стоял перед ней на коленях, держал отвёртку в руках.

– Я тоже тебя очень люблю! – отразила она его лицо. С радостью чувствовала, как звонко стучит её сердце, как кровь

приливает к низу живота.

– Это хорошо! – улыбнулся он, возвращаясь к своей работе. – Кстати, кровать куда будем ставить?

Кружка оборвалась вдруг и медленно полетела к полу, разбрызгивая остатки. Как невыносимым страхом, её глаза наполнялись хрупким полётом до самого взрыва, жёсткого и страшного конца. Но кружка глухо тумкнула, пару раз подпрыгнула и замерла, вздрогнув в последний раз вместе с эхом пустой комнаты.

– Ч-что? – произнесла она ослабшим голосом, не отрывая взгляда от разбегающейся лужицы.

Он показал в сторону обмотанной кровати. Удивлённо смотрел на её лицо.

Ничего больше не говоря, она обняла себя руками, развернулась и пошла на кухню.

Андрей опять пожал плечами. Подмигнул сверкнувшему из-за окна простору. Стоял на коленях перед шалашиком, вкручивал очередной саморез.

# ДАВКА

Иван Георгиевич увлекал людей за собой. На строительстве ледовой железной дороги бывали случаи, когда измождённые недоеданием и каторжным трудом женщины отказывались выходить на работу. Они разводили костры и грелись около них небольшими группами или бессильно лежали на нарах в стоящих прямо на льду палатках, вдыхая сырой, чуть тёплый воздух... Он останавливал водителя, приказывал замолчать исходящему в угрозах скорой расправы политруку, заходил в палатку и с грустью в глазах смотрел на худое лицо укрытого одеялом тела, приговаривая: "Отдохни, милая... Отдохни..." Выйдя из палатки, он скидывал шинель, шёл к эстакаде и, взяв заиндевевшую кувалду и поплевав себе на ладони, принимался забивать костыли, сопровождая свою работу весёлыми прибаутками вроде: "Эх, на лавке лежать – ломтя не видать!"

Колокол ледяных ударов далеко разносился надо льдом. И постепенно, по одному, к эстакаде начинали подходить люди. Женщины поднимали побросанный инструмент, брались за дело. Подбадриваемые криками своего начальника, они и сами начинали подгонять друг дружку, смеялись звонко шуткам, надо признать, зачастую довольно-таки похабным. Откуда только брались силы у них, ещё час назад

плашмя лежавших по нарам? Когда над участком разносился дружный перезвон, он потихоньку откладывал инструмент, отзывал в сторону бригадиров и, разминая окоченевшие чёрные руки, жёстко выговаривал им, объясняя, что следует предпринимать, чтобы работы ни на миг не останавливались.

Естественно, спасение умирающих от голода не являлось заветной целью его жизни. Он был прирождённым инженером, способным на ходу, силою одной лишь интуиции решать технические задачи, посильные только крупным проектным отделам, и в начале сорок первого прибыл в Ленинград с бушующим в груди пламенным желанием – дать великому городу метро. С энергией и знанием дела приступил он к организации работ, но начавшаяся война изменила все планы страны в один день. В самый тяжёлый первый год блокады коллектив «Метростроя» под его руководством участвовал в строительстве оборонительных и транспортных сооружений, в конце сорок второго, как только встал лёд на Ладоге, был брошен на прокладку ледовой железной дороги, а в начале сорок третьего, всего лишь через месяц после прорыва, по железной дороге, построенной этими голодными, находящимися под непрерывным огнём противника людьми, в Ленинград пришёл первый состав с мукой и тушёнкой с Большой земли; в обратный рейс поезд повёз тихих детей, чьи бездонные глаза чернели из белых пятен лиц.

Он жил не для себя – для страны, для народа, и своими делами доказывал это. Люди следовали за ним ни в коем слу-

чае не из страха, что и вправду нависал тогда над страной, но в первую очередь потому, что он вёл их к победе, что он не боялся брать ответственность на себя. Страх ведь в те неоднозначные времена вообще никого никуда не двигал... Ведь это был не наш привычный, поторапливающий страх. Страх отстать, не успеть, не купить, то был страх обезволивающий – страх ответственности: за слова, за действия, за бездействие.

Ему не удалось осуществить свою мечту. После его трагической гибели в сорок четвёртом тысячи исхудавших ленинградцев провожали тело начальника «Метростроя» в составе траурной церемонии, молчаливо идущей по Невскому. Они шли не по разнарядке; люди были искренне благодарны ему, помнили его горящие уверенностью глаза, его ободряющую улыбку. Несмотря на то, что над городом было чистое летнее небо и что война пылала уже далеко, холодное чувство, неотступное, словно серая туча, сопровождало процессию. Люди чувствовали, что вновь оставляет их самый честный и самый примерный, ощущали себя одинокими и недостойными нести возложенную на них великую ношу.

Шёпот, прокатываясь над толпой, тихо шелестел, что, возможно, катастрофа была предумышлена – уж очень выделялся погибший своими заслугами, что вроде бы даже был отдан на подписание приказ о назначении его на должность наркома путей сообщения, что Каганович, действующий нарком, отправляя его в эту срочную командировку,

мог что-то «знать» о неисправности самолёта... Но туча следила неотступно. И шёпот, едва всколыхнувшись, стихал. Да может, и не было никакого шёпота?.. Может, это ветер шумел над толпой...

Одно было неоспоримо – самые честные и примерные исчезали: в пламени войны, в чистилище ночи. И постепенно оставалось всё меньше тех, кто умел принимать удар на себя, кто понимал, куда он идёт и умел вести других за собою, а всё больше тех, кто умел лишь подгонять, сам при этом оставаясь за спинами. Конечно, это не значит, что оставались плохие... Это значит, что оставшимся приходилось нелегко...

Вот и метро... После его гибели ход работ многократно замедлился; то, что он планировал сделать за два года, закончили только через десять лет. За то короткое время, что он руководил ходом работ, была создана материальная база «Метростроя», сформирован дружный коллектив энтузиастов, пробиты шахтные стволы всех станций первой очереди, после же его ухода начались непрерывные перебои: со снабжением, со сроками выдачи проектной документации, с решением практических проблем, ежедневно встававших перед подземными строителями. (А Москва всё подталкивала, угрожала, требовала, чтобы строительство было завершено к годовщине...) И в отсутствие талантливого, ответственного и пробивного руководителя принимались решения, снижающие надёжность и безопасность. В частности, в целях экономии было уменьшено число эскалаторов на станциях и вме-

сто предполагавшихся шести эскалаторов по двум сторонам платформы все станции первой линии получили только по три эскалатора с одной стороны. На момент строительства метрополитена это и вправду было не критично, зато с годами, по мере увеличения пассажиропотока, ошибочность принятого решения становилась всё более и более очевидной. На некоторых платформах, например, на «Владимирской», где по центру небольшого зала позже был достроен переход на «Достоевскую», ситуация осложнилась ещё больше. Не хочется даже и представлять, что произойдёт, если однажды плотность потоков, выливающихся из этого тоннеля и соединяющихся с волнами, непрерывно выплескивающимися из поездов, превысит допустимый предел... Но в то время такие решения принимались повсеместно... На многочисленных стройках страны ради отчёта, ради досрочного запуска руководство шло на упрощение технологии, на снижение безопасности. Шестерни срывались... Установленные взамен них проскальзывали... Но двигатель пока что работал, машина продолжала катиться вперёд. И пусть с большим отставанием, но первая линия ленинградского метро была запущена в эксплуатацию.

Время шло... Забывались потери, покрывались пеплом горячие угли войны. Да и серая туча понемногу растворялась в необъятном пространстве прошедшего, правда, почему-то оставляя после себя ровно столько же пустоты, сколько простора. Страна жила, машина бежала... Метро продол-



жало расти и шириться, поток пассажиров возрастал с каждым годом. . . И уже ни один кировец не додумался бы завоевать снисхождение заводской красавицы, пригласив её «прокатиться по подземной дороге», а лиговские мальчишки уже не хвастались перед своими друзьями, что умудрились целый день прокататься в метро без билета. . . Как всё новое рано или поздно становится привычным, так и подземка постепенно перестала интересовать людей как произведение архитектуры и конструкторской мысли. И если у кого-то, предположим, имелась бы на руках запись с видеокамеры, расположенной на «Владимирской» с момента её ввода в эксплуатацию, то его заинтересованный взгляд мог бы наблюдать в режиме ускоренного просмотра всю динамику сложной человеческой машины. Он бы видел, как сначала пробегали перед камерой первые, единичные и восхищённо вертящие головой пассажиры, как затем ритмичными порциями пульсировала более плотная масса торопливых и серьёзных людей: женщин в строгих драповых пальто, мужчин в расклёшенных штанах, как плотность и частота пульсации постепенно увеличивалась, а одежда изменялась в зависимости от сезона и прирастающего в нижнем правом углу порядкового номера года, как одновременно с этим восхищение на лицах сменялось спокойной светлой уверенностью, а она, в свою очередь, уступала место усталому безразличию, как после того, как в центре зала разверзлись две арки перехода, движение окончательно превратилось в медлительный душный поток,

одежда стала однообразно бесформенной, а на лицах поселилось выражение серого отчаяния, как затем плотная толпа начала понемногу пестреть яркими красками, а спокойствие начало возвращаться на лица и... но именно в этот момент запись подошла бы к концу, и система, перейдя на нормальную скорость воспроизведения, показала, как остановился очередной состав, как из него вылилась новая масса ещё полетному одетых тел, как среди неё выделился своим ростом красивый парень лет двадцати пяти...

Его лицо привлекало странной, труднообъяснимой красотой, которая складывалась скорее не из привычной глазу правильности очертаний, что относится, как правило, к характеристике определённой какой-то нации, а из невзрачных по отдельности, но становящихся очень яркими за счёт гармоничного смешения черт, выдававших в его крови наличие следов многих национальностей. Прямой готический нос, бездонный испанский взгляд, кубанские смоляные волосы, великоросский купеческий подбородок, тот, что так хорошо подпирается кулаком в долгие зимние вечера... В эту минуту, несмотря на то, что начиналось лишь утро новой недели, всё это интригующее сочетание уже было искажено тяжестью грустной мысли. Проблемы, важнейшие и насущные проблемы, поглощали всё его внимание. Если бы не они, парень, вполне возможно, и присматривался бы к текущим подле него лицам, задумываясь о том, где он находится и как всё это сооружалось, однако на эти мысли у него уже не оста-

валось ни времени, ни сил.

В числе торопливых фигур заворачивая к переходу, стараясь никого не задеть при подъёме на лестницу, он даже не обратил внимания на то, что из встречного перехода спускается подозрительно малое число пассажиров. Его больше занимало то, что другие тела мешают его быстрому продвижению вперёд. Он успешно обогнал нескольких бабулек в изношенных драповых пальто, но опередить женщину с ребёнком в зелёной курточке уже не смог: толкнул её и сбавил скорость под недовольным взглядом, поковылял позади. Раздраженный этим противодействием, он и не мог заметить, как с каждым шагом движение становится всё плотнее, а потому упустил последнюю возможность развернуться... Когда три четверти пути уже осталось позади, движение неожиданно замедлилось, а через секунду и совсем остановилось. Люди впереди словно упёрлись в какую-то мягко пружинившую сетку. Удивлённый, он торопливым движением оглянулся назад по верх голов: мелькнула быстрая мысль, что выгоднее вернуться и пересечь площадь поверху. Но это оказалось нереальным. Головы позади уже сошлись в плотный, слегка волнующийся и поблескивающий глазами коврик; всё прибывающие, подталкивающие предшественников тела неестественно, по-пингвиньи, покачивались при медленном продвижении вперёд, увеличивая давление; только за излучиной перехода, в самом его истоке над ступеньками, где оставался ещё простор, виднелись на мгно-

вание появляющиеся и тут же исчезающие головы правильно оценивших ситуацию счастливицков. Ему ничего не оставалось, как принять решение идти дальше, присоединившись к этой занимательной игре в пингвинов. Грустных и усталых пингвинов, которым, судя по текущей скорости, требовалось около пяти минут, чтобы пройти эти двадцать метров, оставшихся до вестибюля с эскалаторами.

И он тут же, вместо того чтобы глядеть по сторонам, разбираться в ситуации, принялся винить себя. Действительно, тяжело казалось толкаться здесь, среди тел, втиснутых в каменный мешок, что своим близким потолком давил на измученный проблемами мозг ещё и тоннами опасной земли, вместо того чтобы, вовремя оценив ситуацию, подниматься сейчас на беззаботном эскалаторе к свободной свежести света. Только то, что он немного возвышался над другими, помогало ему: он мог видеть тусклую прослойку свободы, вздыхающую между монолитом потолка и сероватой рябью голов. Вообще, винить себя – это была его абсолютно нерусская, унаследованная от каких-то заграничных предков привычка. Он часто сомневался в правильности совершённых поступков, в обоснованности выбранных целей, ругался с собой из-за отсутствия энергичности в их достижении, завидуя друзьям и знакомым, большинство из которых имело счастливую способность самозабвенно и радостно стремиться к своей мечте, даже если со временем эта мечта превращалась в полную противоположность исходной. Что-то сидя-

щее глубоко внутри, такое, что он даже не мог понимать, что именно, заставляло его на весёлой пьянке вдруг забиваться в какой-нибудь угол и со слабой улыбкой наблюдать за чужим весельем, или даже, отказываясь от заманчивых приглашений, оставаться дома и вычитывать что-то из очередной книжки, скачанной по совету списка «100 самых...» Сейчас от этого самокопания его ещё мог бы отвлечь вид какой-нибудь симпатичной, недавно вступившей в репродуктивный возраст девчонки, предлагающей себя раскраской и одеждой, но таковых не наблюдалось ни одной среди этого плотного скопления. Всё окружали его какие-то тёмные скрюченные бабки, потные жирные мужики, бесполезные тётки с детьми... Оглядываясь назад, он видел узкий тоннель, напирющую массу тел, вспышки поблескивающих из сумрака глаз и чувствовал напряжённое, раздражённое давление, заставляющее идти только вперёд; впереди виднелась точно такая же, безликая и скучная толпа, которая вязко утекала за поворот в небольшой, тусклый мрамором вестибюль, таящий в себе причину сегодняшнего столпотворения. Нет, интерес к причине этого затора, конечно же, имелся. Парень с определённым любопытством подпингвинивал по шажочку вперёд, поглядывая на воображаемую границу, за которой тесный низкий коридор становился вестибюлем: за многие годы, что он пользовался этим переходом, ни разу ему не доводилось попадать здесь в такое скопление. Но ответ почти не приближался, и всё так же виднелся квадратный кусочек

вестибюля, и только давление всё нарастало и нарастало...

И вдруг по толпе побежала волна.

Он прямо-таки видел по движению голов, как она вышла из вестибюля с эскалаторами, а потом так, немного вильнув, изменила направление и ринулась в проход, прямо на него, слышал, как впереди раздались приближающиеся острые вскрики, а когда волна прокатилась сквозь него, ощутил невыносимое, какое-то смертное давление тяжести чужих тел, вырвавшее из его тела весь воздух. Вскрики затихали за спиной, а он, судорожно вдыхающий, ещё не осознавший, что происходит, ощутил ужас ледяного гвоздя в затылке, наблюдая, как нарастает вторая волна, ещё более высокая, чем первая. Какой-то потусторонней вспышкой ему вспомнились передачи об удушающей мощи толпы и в самый последний момент он успел согнуть в локтях руки и, прижимая изо всех сил к бокам, принять на них злобный удар плоти. Старушка, стоявшая перед ним в двух рядах, побледнела лицом, высунула жирно язык и, крутнувшись ужасной маской, захрипела, утопая меж тел; мальчик, которому его кулак попал в голову, завизжал и принялся скоро-скоро скрести ногтями, карабкаясь вверх по не обращающей на него внимания матери; со всех сторон раздавались сдавленные стоны, слышались визги и хрипы, искажённые голоса исторгали не находящие смысла звуки; взблески налитых звериным ужасом глаз метались по помещению; там и тут возникали мелкие завихрения паник, соединяясь в одно напряжённое,

ждушее одного лишь толчка волнение...

«Так! Все замерли!» – прогремел оглушительный бас над самым его ухом. Он почувствовал, что этот голос имел неестественность, словно мужчина сознательно понижал его. Тем не менее, громкий звук сразу подействовал. Ближние ряды стихли и оцепенели, но сзади и спереди всё ещё поддавливали. «Я сказал: никому не двигаться! Сейчас там решётку откроют, и станет свободно... Не давить, я сказал!» – прогремел бас снова, и оцепенение разлилось дальше. Вскрики притихли, волнение подуспокоилось. Говоривший мужчина резко отнёс его в сторону, просунул руку и, схватив испуганного ребёнка за шкирятник и рванув того из массы тел, резким движением посадил к себе на плечо. Голова ребёнка при этом почти упёрлась в полукруглый свод потолка. Выполняя эти движения, мужчина больно и бесцеремонно задел голову парня своим мощным локтем. Испытывая злобу и боль, тот посмотрел назад. Его глаза встретил спокойный и безразличный взгляд. Внутренне сжавшись, парень отвернулся и замер. Масса, находящаяся в тоннеле, тоже стояла покорно; люди, стоявшие ближе к вестибюлю, понемногу начали исчезать. Как свежий ветерок, пронеслось по толпе чувство спадающего давления. Стоявшие впереди люди закопошились, что-то вынимая из-под ног. «Женщине плохо...» – слышал он. Видел, как два человека подняли упавшую под руки и потянули её к перегородженному железной решёткой разрыву в стене, где имелось чуть больше свободы. От эскалаторов

доносился истеричный старушечий голос: «...чуть не убили!.. Кто же так закрывает!..» Проходя через вестибюль, он понял, в чём дело: парнишки и женщина в ментовской форме стояли у входов на эскалаторы, загораживая путь толпе, а покрасневший сотрудник метро теребил в руках цепь с замком, выслушивая визгливые обвинения. Видимо, замешкался, открывая защитную решётку. В нескольких местах над головами виднелись включённые телефоны. Он даже скривил рот: то, что он не имел своего в такой именно день, удваивало обиду потери.

Сердце билось учащённо, но волнению уже не имелось причин. Опасность обошла его стороной. Оставалось только потратить ещё какое-то количество времени, чтобы вернуться на «Владимирскую» и обойти поверху. Но это уже не казалось таким возмутительным. Люди вокруг чувствовали то же. Они переговаривались, предлагая свои объяснения произошедшему (доносились слова про оставленную на «Достоевской» сумку), осуждая неумелые действия полицейских. Чуть впереди шла женщина, прижимающая к себе зелёного ребёнка. Рядом с нею шёл большой мужчина, спокойно улыбающийся и пошучивающий в ответ на её благодарности. Парень постарался незаметно отстать от них, благо толпа всё больше и больше рассеивалась. Когда он дошёл до ведущих вниз ступеней, то смог даже спуститься, припрыгивая и постукивая ногтями по жёлтому поручню. Около соседнего, ведущего на «Достоевскую» тоннеля уже стояла гнусная тёт-



ка в метрополитеновской форме. Она отгоняла незнающих людей, натянув поперёк входа толстый трос красного шёлка и оставив небольшую щель для последних пассажиров, возвращающихся из закрытого перехода.

На станции же и вовсе всё успокоилось, участники давки быстро растворились среди ничего не подозревающих пассажиров, каждую минуту прибывающих с новыми поездами. Он неторопливо шёл по залу, радуясь непривычному ощущению свободы, которое он получил посреди суетливого, спешащими телами транспортного узла, и одновременно переживая какое-то большое, плотное, пульсирующее в ушах и голове чувство, сдавливающее его сознание возбуждённой толпой неуправляемых мыслей. Когда он взошёл на ступени тоннеля, ведущего к эскалаторам, скопление людей, виднеющихся в конце этого тоннеля, показалось ему подозрительно большим, и он предусмотрительно не стал подниматься на второй марш, решив постоять в уголке на лестничной площадке.

Мимо него проходили люди...

Он наблюдал за ними и думал о том, как это непонятно и смешно, то, что они не понимают грозящей опасности. Обыденные их лица на фоне возможной катастрофы вдруг приобрели для него новое значение. Хотелось взглянуть в них, сравнить, как поведут себя они, как поступит вон тот или вот этот, когда толпа наконец вздохнёт и запустит по себе тяжёлую волну.

Провожая людей взглядом, он остановил внимание на попрошайке со спящим ребёнком и коляской. Она прижималась к этой же стене, чуть поодаль от него, рядом с оборванной бабкой, явно сумасшедшей, которая стояла на коленях и монотонно отбивала поклоны грязной пластиковой баночке для денег. Попрошайка, та, что держала на плече ребёнка, тряслась в беззвучных рыданиях, с очевидным усилием сжимая стремящиеся разомкнуться белые губы и протягивая вперёд дрожащую, согнутую в локте руку.

Убедившись, что его опасения безосновательны и что толпа не нарастает, он продолжил путь. Проходя мимо попрошаек, покачал головой: по бесчисленным передачам он твёрдо знал, что обманщики бывают невероятно изобретательны и артистичны и что без «официального» разрешения так работать в метро не дозволено никому. А на эскалаторе ему наконец, впервые за этот день, повезло. В трёх специально пропущенных ступеньках, отвлекая ото всех неуместных размышлений, вознеслось на уровень глаз произведение искусства, обтянутое короткой, туго облегающей юбочкой. Темнеющая щель в том месте, где плотно сжатые ножки исчезали под нею, то набухала, то бледнела от волн движущегося света, как мигающая рекламная стрелочка, напоминающая сразу обо всех заманчивых, виденных им с самого детства фильмах. Это было божественно, но, как ни молили его глаза о продолжении, ему вскоре пришлось принудительно оторвать их и направить на поток обыденных встречных лиц,

дабы не выставлять свои лёгкие брючки на позор при спуске с эскалатора.

\* \* \*

Когда Иван Георгиевич консультировался с местными властями относительно выбора мест для строительства наземных вестибюлей, как самое перспективное место для строительства «Площади Нахимсона» ему предложили территорию, занимаемую Владимирским собором. В этом не было ничего кощунственного или принципиального. Какое-то здание разрушать всё равно бы пришлось; исходить следовало из понятия целесообразности, заменяя менее полезное здание более полезным. Руководствуясь этим же рассуждением, сносили и Знаменскую церковь под вестибюль «Площади Восстания», и жилое здание под «Технологический институт», и деревянные дачи под «Автово». Однако это предложение так и не реализовали. Директор фабрики «Ленмашучёт», уже почти десять лет располагавшейся к тому времени в храме, грудью встал на защиту своей территории, суетливо забегав по инстанциям, рассылая десятки обосновывающих и жалобных записок.

...Летом тридцатого года в рабочем кабинете настоятеля Владимирского собора, протоиерея Павла, вокруг просторного стола, сукно которого лишь по центру было свободно от разложенных аккуратными стопками бумаг, сидели трое оде-

тых в чёрные рясы утомлённых священнослужителей. Двое из них были седобородыми полными старцами в очках, с большими крестами на груди, третий – молодым священником с относительно короткими волосами и клинообразной бородкой.

– Вы же сами прекрасно понимаете, о чём я говорю. Вы воочию видели глаза этих «пророков», – произнёс протоиерей Михаил, настоятель Малоколоменской церкви, бывший когда-то из «иосифлян».

Отец Павел грустно покачал головой, бросив взгляд на лежащие на столе документы – всё это была переписка с ГПУ, с Советами, с теми же «иосифлянами», не допустившими тогда проведения собора. Отец Николай следил за лицом своего настоятеля, храня на губах едва заметную улыбку.

– Они всерьёз проводят измерения, – сбивчиво продолжал отец Михаил, – так, словно моего храма уже нет! Меня, вы знаете, им уже не испугать... Но я боюсь за своих детей, свою супругу... Как она за меня переживает... Вы знаете всё, что я говорил раньше... И я езжу сейчас... И я воистину верю, что не останется камня на камне; что всё будет разрушено... Но почему же просто смотреть на это? Отец Павел, я знаю Вас, как прекрасного организатора, как человека, способного увлекать за собой! Я прошу Вас, забудьте о прошлом, благословите клир сообща встать на защиту!

Отец Михаил, тяжело дыша, остановился. При его словах отец Николай вздрогнул и метнул быстрый взгляд на настоя-

теля, лицо которого оставалось неизменно спокойным. Отец Павел помолчал какое-то время и медленно произнёс красивым, мелодичным голосом:

– Я понимаю вас очень... Да, претерпевший до конца будет спасён... Но не забывайте, глубокочтимый отец Михаил, и о пастве! Да, действия большевиков имеют чёткие, логичные объяснения. Но они считают, что чтобы искоренить веру в душах, достаточно поскорее убрать её внешние проявления, замазать иконы, разрушить храмы... Они верят, будто можно в одночасье разрушить то, на чём стояла божья церковь веками... У сильных же духом никогда не ослабнет вера!.. Но что делать со слабыми? Ведь каждую заблудшую овцу следует чтить и возвращать! Для многих, о, вы меня понимаете, насколько для многих взор даже закрытого храма будет важнее любых, самых проникновенных проповедей! Именно в сей тяжкий момент клир и должен объединиться. Пойдя на малую жертву, но сохранив главное...

– Во главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всём – любовь, – ударив на вторую часть, быстро добавил отец Николай, взглянув при этом с улыбкой на своего руководителя.

Отец Михаил вздохнул и помолчал, опустив голову и глядя куда-то себе в ноги.

– Благословите меня, отче, ибо грешен я, – обратился он к настоятелю, тяжело и шумно поднимаясь.

– Ну, упаси нас всех Бог... – произнёс он глубоким и гу-

стым голосом, получив благословение и отдавая поклон, и, уже на выходе из дверей, каким-то другим, тихим и звонким, добавил: – Упаси Бог...

Отец Павел поднял взгляд на оставшегося с ним за столом человека.

– Важнее... Важнее... – как-то особенно устало, совсем по-старчески повторил он, вспоминая революционное лицо вошедшего в храм молоденького красноармейца, который, не изменяя выражения, под устремившимися на него со всех сторон взорами вдруг сунул руку за пазуху и сделал четыре малозаметных движения пальцами. Отец Павел опустил глаза на стол. Перед ним лежало уведомление из совнархоза...

Рядом с этим самым Владимирским собором, а точнее, у памятника скрюченному человечку, находящемуся неподалёку от входа в метро, и стоял красивый черноволосый парень, поглядывая то на бродящую поблизости тётку, рассыпающую рекламную скороговорку из расположенного на её груди рупора, то на тянущийся вдаль Литейный проспект, то на проходящие мимо него лица различной степени невзрачности. Он затягивался и отпускал вниз струйку дыма. Если честно, то обычно он очень переживал из-за своего курения: пытался бросить уже два или три года, но каждый раз, протерпев несколько месяцев, срывался на каких-нибудь нервах. Как, например, сегодня. Только сегодня совесть глухо молчала. В сигарете он действительно нуждался, он просто представить не мог, как бы он перенёс это без сигареты.

Мелькнула... нет, правда, у него даже мелькнула мысль о том, что не зайти ли в церковь... Но он лишь смутно представлял, что там делать внутри... К тому же там помнились ему какие-то запутанные лестницы, какие-то чёрные женщины в балахонах... Желание быстро рассосалось, благо табачный дым ударил в голову, и мир закачался и приятно поплыл. Ногам захотелось присесть...

Он в сто, наверное, тыщмиллионнопервый раз загрузил в сознание этот, как сигарета вонючий и тошнотворный вопрос, который, потолкавшись там для виду, вывалился всё тем же, уверенным и строгим ответом, что всё, что он делал – он делал правильно. Но вместо успокоения в тот же самый тыщемиллионный раз память навалилась на голову холодной тяжестью одиночества. И он, несмотря на то, что знал, что вот теперь точно будет противно, достал из кармана пачку и сунул в рот новую вонючую палочку.

В этот самый момент неожиданно улыбнулось солнце, блеснуло на куполах, запечатлело их тени на холсте противоположного дома и выпустило из этой картины её. Она приближалась, неторопливо вырастая из буквы V, расчёркнутой на фоне сереющего неба двумя рядами протянувшихся к горизонту домов. В один миг он понял и то, что она идёт именно к нему, и то, что он ей симпатичен. Осветившее её солнце быстро спряталось, и он продолжал смотреть на неё без блеска: сегодня она оделась в простенький свитерок, в эти глупые дырявые джинсы... Но опытному мужчине во все вре-

мена хватало одного лишь короткого взгляда, чтобы, достоверно представив её в двух основных одеяниях – на высоких шпильках, в красивом обтягивающем платье и без него – понять, что да, эта женщина ему нужна. Он сглотнул противную табачную слюну, которую постеснялся сплюнуть, и тут же почувствовал, как тошнота ринулась в горло. С большим трудом он удержался. Но на это ушло всё самообладание, и, когда она подошла, выглядел он глупо, растерянно. Она немного наклонила голову набок и просто стояла, глядя в глаза, улыбаясь. Светлые волосы шелестели по её плечу, как листики молодой берёзки по берегу. Он тоже улыбнулся, вышло вроде бы ничего... «Она! Она!..» – орал кто-то внутри и высоко подпрыгивал.

– Привет, – произнёс он, глядя в её глаза, довольный, что так быстро смог вернуть самообладание.

Она кивнула в ответ, радостно улыбнулась. Молчала.

Он не мог придумать, что сказать дальше. Глянул за неё, на мельтешащих людей, в глубь живущего проспекта, словно оттуда вслед за ней могло прийти ещё и какое-то продолжение.

Она переменила позу и раскрыла серебристые губки.

– Ээ-ай сига-э-эу, – произнёс неожиданно кто-то из неё. Голос доносился словно эхо, глубоко и овально.

Он опешил и, глупенько улыбаясь, поглядел на её рот. «Сумасшедшая? Издевается? Шутит?» – проносилось в его сознании.



– Сигаэту, – повторила она, постучав двумя плоскими пальцами по рту.

Он, всё так же улыбаясь, закопался в кармане непослушными пальцами. Она наблюдала за этим, всё такая же светлая и спокойная. Он наконец достал пачку, дал ей прикурить. Выпустив струю в сторону, она красиво опёрлась о бедро.

– А у тэба найдося дээнге на мэтро? – Она открывала рот, но голос действительно вылетал чей-то чужой, не принадлежавший ей.

– Что-что? – тупо переспросил он, хотя с первого раза всё понял.

Она извинительно улыбнулась и, юркнув ладонью в карман, потрясла на ней две монетки.

– Дэнгээ на мэтро-о?

«Издевается!» – однозначно понялось ему. Он почему-то вспомнил свои нечленораздельные крики внутри сдавившей толпы и вдруг с непривычной для себя злостью скорчил тупую рожу и почти прокричал:

– Нээ найдосаа!!

Она вздрогнула от такого ответа. Улыбка тут же погасла на её лице, и она, тихо кивнув, пошла от него прочь. Он сделал последнюю тяжку и раздражённо бросил сигарету под ноги памятнику. Посмотрел ей вслед. Она уже подходила к группке молодёжи, сидевшей на гранитной скамейке, и что-то показывала им движениями пальцев. Посмотрев на её жесты, они, все как один, обернулись в его сторону и засме-

ялись. Один из парней тоже показал другим несколько жестов, и они засмеялись опять. Она в последний раз обернулась к нему, сдерживая улыбку, взметнув над сереющим миром свои яркие волосы. Только тут до него дошло. В груди у него мелко задрожало, в висках застучала кровь и перед глазами на мгновение возникла влажная пелена. Он почувствовал бессознательное движение руки к карману, но остановил его с отвращением. Курить он точно уже не мог.

\* \* \*

Он шёл по ровненькой мостовой мимо свеженьких фасадов, мимо кругленьких клумбочек и дизайнерских фонариков, мимо декоративных мостиков и завитушных урночек и с какой-то даже жалостью вспоминал огоньки луж на щербатом асфальте, простоту измазанных копотью стен, домашний уют гулких задумчивых улиц. Как и всякий раз, когда он приближался к бабулиному дому, чувство ясного улыбчивого спокойствия опускалось на него. Оно состояло из полумрака, свежего хрустящего белья, уютно согревающего тело, глубокого тихого голоса, утягивающего в радостную глубину сказки, редкого шума покрышек за слегка дребезжащим окном, из противного, но обязательного яичка всмятку, полагающегося к восхитительной утренней манке, из гремящего по паркету скейта, на котором строжайше запрещалось кататься по коммунальной тогда ещё квартире... Те детские,

такие настоящие и волнующие тогда, но такие смешные и наивные теперь проблемы, согревали его чувства, вызывали на губах тихую, нежную улыбку.

Он очень любил свою бабушку Лизу и, несмотря на то, что она умерла уже больше пятнадцати лет назад, чутко хранил в памяти образ её тёплой доброты, даже дом, в котором теперь жил дед со своей новой семьёй, называя бабулиным. Бабуля родилась в блокадное время, и, хотя была вскоре эвакуирована по железной дороге, всю жизнь промучилась со здоровьем. Из-за болезни она рано вышла на пенсию и много времени проводила с ним. Когда она бывала у него в новостройках, встречая после школы, то с ней всегда оказывалась какая-нибудь маленькая штучка, жвачка или игрушечка. Но с ней это было совсем не важно! Он помнил, как тяжело и долго она поднималась по лестнице, когда бывал отключён лифт, помнил, как долго она, искренне переживая и задыхаясь от эмоций, говорила по телефону, пребывая в чьих-то проблемах: кого-то успокаивала, для кого-то с кем-то договаривалась. Невзирая на собственные волнения и ноющие болячки, всю свою жизнь она была безотказной для других... А когда он ехал к ней на выходные (штурмующий в одиночку метро самостоятельный восьмилетний мужичок, для ребят «на кортофанах» везущий гордый пароль «я с Пашей со Свечного»), то, добравшись, тут же превращался в маленького беззащитного ребёнка, под любыми, иногда наивными и очевидными предлогами стремящегося попасть к

ней на руки, чтобы прижаться к её огромному теплу, ощутить упругость густых чёрных волос, увидеть вблизи добрые глубокие глаза. С дедом он тогда общался как-то нечасто. Тот отсутствовал по выходным, постоянно бывал в длительных заграничных командировках. А когда случалось застать их дома вместе, то дед, немного с ним позанимавшись, исчезал во второй принадлежащей им комнате, той, где раньше жили они с мамой и папой. В этой комнате он частенько гостил и потом, когда дед уже жил здесь со своей новой семьёй – моложавой стройной женой и семилетней дочкой Олесей. Переезд произошёл довольно быстро, месяца через два после того, как накрытую простынёй бабулю подняли на носилках по эскалатору – «скорые» тогда ездили неторопливо. Только потом, много лет спустя, уже повзрившись в университетской среде, он понял, почему не объявляли о разводе: это могло бы испортить дедовскую карьеру.

Подходя к дому, он со внутренней теплотой глянул на скверик со скамейками, стоящими вокруг вентиляционной шахты. Снова память ожила не таким уж и далёким прошлым: запахом саляры от крутых девятинок и крепкого спирта от бутылок «девяточки», видом заросших джунглистыми надписями стен и манящих играми и телефонами вывесок, ощущением мягеньких и несолидных «пидорок», привычно раздувающих карман солидных чернотой дублёнок... Где-то там, за котельной, он впервые не смог встать на ноги без понимающей помощи Пашки, там же деловая Дашулька Де-

мьянчук, первой из всех, поцеловала его чё-то типа под видом спора, при народе, суетливо, жарко, пьяно и... в темноте куда-то в ухо. Он набрал код на воротах, потом код на лестнице, поднявшись, надавил на кнопку звонка. С привычным удовлетворением он задел взглядом тусклые под краской следы от ещё трёх кнопок, некогда бывших рядом с этой: карьера деда пошла успешно, и он смог разными способами скупить все комнаты в этой коммуналке, отремонтировать их в классическом дубово-золочёном стиле. Словно сокрывшись на время за виртуальным советским пространством, квадратные метры проявились вновь в своём изначальном статусе огромной частной квартиры с большой ванной и с кухаркиной комнаткой, имеющей отдельный выход на чёрную лестницу.

За дверью долго не слышалось никакого движения, и он стоял, прислушиваясь к успокоительному лестничному объёму, ощущая тихую прохладу столетий. Потом, после того как он ещё два или три раза надавил, послышалось отдалённое шепуршание, медленное шаркание ног, царапание по двери, дрожь ключа в замке.

– Привет, дед! – радостно проговорил он.

– А... Олежка! Заходи, дорогой, заходи... – Дед потряс двумя руками, вспоминая пригласительный жест.

– Ну что, как живёшь-бываешь?

Олег говорил весело, подбадривающе. Балансировал на одной ноге, снимая ботинок.

– Да... Заходи... – проговорил дед, разворачиваясь и уходя вперёд руками в глубокую тень помещения.

Олег вздохнул, захлопнул входную дверь и выключил свет. Подхватил стоявшее в коридоре мусорное ведро, отнёс на кухню и поставил на место, в приоткрытую под покоцанной мраморной столешницей дверцу. Помыл и вытер руки. Захлопнул дверь холодильника.

Дедуля относился к тем новым советским интеллигентам, выбившимся из деревни в пятидесятые, которых так легко представить стоящими во главе ломящегося стола с большой рюмкой в руке и красочно и долго желающими здоровья в первую очередь имениннику, а затем, по старшинству, всем уважаемым людям, присутствующим за этим столом. Он казался породистым, имел стройность, умел модно причёсываться, одевался с шиком и хранил в памяти неисчислимое множество характеризующих время и людские типы историй, которые он умело рассказывал, завораживая всеобщее внимание, становясь неизменной душой компании. Теперь он заметно сдал. Уже много лет болел болезнью Альцгеймера или Паркинсона (Олег так и не смог запомнить, какой именно), принимал курсами лекарства и возвращался или удалялся от сознания в строгой зависимости от степени эффективности того или иного препарата. Его жена, теперь подурневшая, располневшая и вечно недовольная всем и всеми, очевидно, через силу тянула этот крест ради квартиры и повзрослевшей дочери, пребывающей в активном поиске до-

стойной партии. Олег как-то не мог найти в последнее время общего языка с тётёй Олей (особенно это стало сложным после того, как всплыла история с Олеськой, которая настойчиво и истерически нервно неоднократно находила этот его язык сама), поэтому и старался приходить к деду в дневное время, когда молодая «бабуля» пребывала на работе.

Олег прошёл по тёмному коридору меж высоченных белых дверей. За приоткрытой дверью спальни промелькнули устремлённое в потолок будуарное зеркало и не менее огромная скрипучая кровать, блестящая лакированным деревом. Из-за кабинетной двери недовольно взглянул антикварный письменный стол, приладившийся сверху на уютное атласное креслице. В просторной и светлой гостиной царили чистота и строгость. Два тяжёлых комода серьёзными часовыми стояли друг напротив друга по боковым стенам, воздержав на накрытых кружевом столешницах символичные, внимательно подобранные семейные фотографии и объекты из статусных поездок; не менее солидная и глянцевая стойка между окон кряхтела под тяжестью устаревшего, но всё ещё огромного телевизора и положенной к нему техники, напротив располагался огромный и дорогой, но продавленный и потёртый кожаный диван, перед которым – журнальный столик, обсыпанный по кругу бумажными листами, понемногу опадающими из растущей на нём огромной кучи.

Олег подошёл к сидящему на диване деду и сел рядом. Дед

перебирал бумаги, вглядываясь в написанный на них текст и раскладывая на четыре стопочки. Многие из листков тут же срывались на пол с неровно расположенных оснований. Олег сидел в тишине и с лёгкой улыбкой оглядывал комнату. Раньше в ней жил дядя Миша со своей семьёй – пять или шесть человек. Стояли две перегородки, над окнами нависали вибрирующие антресоли для белья и пахнущих плесенью деревянных чемоданов. Со своим другом Женькой они часто залезали на дальнюю, угловую, чтобы в уюте и полумраке поиграть в карты или солдатиков. Играть нужно было очень тихо, так как мокрая тряпка тёти Кати была тяжела и неотвратима...

– Ну чего дедуля, ты как? – спросил он через некоторое время, возвращаясь к действительности.

– А... Олежка!.. – обернулся к нему старик. – Да как... Всё так же, так же... Вот новые таблетки принимаю – гораздо лучше теперь. А то был овощ овощем после старых... Ну ничего, в передаче слышал, что лет через десять уже выйдут таблетки, полностью излечивающие от моей болезни... Не так уже и долго терпеть осталось!

– Да ты и сейчас огурцом выглядишь!

Олег сказал правду. По сравнению с его последним, полугодовой давности визитом, дед преобразился.

– Со второй мучаюсь, – дед двинул рукой в направлении бумажной горки, продолжая так, словно они уже давно об этом говорили, – дописываю, переделываю... По орфогра-



фии очень много. Я придумал: правлю от руки, потом вырезаю, наклеиваю. Олька на работу уносит, копирует мне потом... Ругается!..

Дед шаловливо засмеялся. Олег добро глянул на разбросанные повсюду листки. Он понимал, что речь шла о так называемом «труде жизни», огромном тексте, в котором, по словам деда, собрался «весь колоссальный опыт» по теории проектирования машиностроительных предприятий. Работа эта писалась в восьмидесятые-девяностые и теперь, очевидно, устарела и не имела никакой ценности.

– Видишь, – сказал дед, качнув мутными глазами в направлении фасадной стены, на которой под обоями виднелась небольшая трещина, – пошла. Я, когда ремонт делали, говорил ведь сетку класть – обманули строители. Понимаешь? А к председателю райисполкома я тогда ходил про капремонт договариваться. Я уж и так, и так... Пятнадцать лет, слава богу, прошло. О-хо-хо...

И дед вернулся к своим листикам. Олег наклонился вперёд и открыл уже рот, чтобы что-то сказать, но дед продолжил:

– Жил тут, на пятом этаже, такой Пал Палыч... Вот это мужик так мужик! Не знаю, жив ли сейчас... Он под эту песню с капремонтом себе в начале девяностых успел прекрасную трёшку оттяпать. Три года писал, ходил, жаловался... И что ты думаешь? Дали, дали в Красногвардейском где-то... Жалко, сын его... Знаешь, парень здесь в пролёт сиганул?

Из армии пришёл, вскоре на наркотики подсел... Да... Дети семидесятых годов – это было выкинутое поколение. Только молодые люди начали что-то планировать, на что-то копить, и бах: всё в одночасье рухнуло... Вам, теперь именно вам, предстоит восстанавливать всё с нуля.

Дед закончил эту фразу так, что Олегу показалось, что он сейчас поднимет рюмку и продолжит: «Так выпьем же за то...»

Но дед замолчал, и Олег решил воспользоваться паузой по назначению.

– Дед, я к тебе чего пришёл-то... Мне бы посоветоваться с тобой нужно. Можешь подсказать?

Рука с бумажкой приостановилась в воздухе, в правом уголке рта задрожала улыбка.

– Да, Олежка, для чего ещё старость нужна-то?

Дед отвалился на спинку дивана и замер, двигаясь только руками, лежащими на коленях.

– Да я про девушку свою... Наташа, помнишь, я приводил её как-то?

Дед слабо кивнул.

– Мы тут с ней поссорились... Она даже уехала от меня вчера.

– Ну, бывает... Бывает... – перебил его слабый голос.

– Да нет, ты не понял. Я спросить тебя хочу: что мне делать-то? А? Ты понимаешь, то, что я её люблю, – это точно. Ну, она, ты помнишь, она очень на бабу Лизу похожа, и во-

лосами, и глазами... И добрая она очень... Очень люблю я её...

Олег замолчал, сглотнув. Ему невероятно хотелось курить. Комнату заполняла тишина, не прерываемая даже звуками уличных шин. Внутри него что-то мелко дрожало в такт дедовским рукам. Продолжил спокойно, сдерживая себя:

– Но... Но мы жить вместе не можем! Понимаешь? Постоянно склоки, скандалы какие-то! Всё из-за какой-то чуши голимой, она из-за носков, я из-за обеда. Я ведь домой каждый день спешу, звоню ей несколько раз, спешу на крыльях! И она, видно, что она скучает... А вместе соберёмся: одно, другое – и спим потом по разным кроватям, а она ещё и плачет полночи. И я честно пытался сдерживаться. Честно! Но не могу, это я точно уже понял, это всё эмоции, чувства... И значит, что если продолжать – то это навсегда вот так, а если нет... То я даже не знаю, как! Я вот сейчас вижу... да я всегда знал, что мне без неё плохо! Очень плохо! Нужна она мне очень! Ну а что делать-то? Что я делал неправильно? За что меня бросать-то? А? Дед?

Олег закончил. Он не упомянул ещё о недостатке секса в их совместной жизни, но с грустью чувствовал, что даже этим не смог бы передать всего, что хотел. Что всё то, что теснилось в его груди миллионами всплесков, смыслов, сравнений, обратилось в сухую, глупую в гулком воздухе речь. Он с нетерпением ожидал ответа, но белые глаза деда смотрели куда-то в глубину. Дед мелко вздохнул и наклонился

вперёд к столику. Взял в руку новую пачку бумаг и принялся разглядывать верхнюю с пристрастием. Положил её в правую стопочку, бумага тут же сорвалась и со звонким стуком ударилась о паркет. Олег отвернул лицо в сторону и шлёпнул рукой по подлокотнику, собираясь встать.

– Сомнение, – неожиданно проговорил дед, – самый тяжкий крест, который только может нести человек в своей жизни. Есть лишь две вещи, посильные богу и непосильные человеку: вечно жить и вечно сомневаться.

Сказав это, дед положил следующий лист бумаги, который на этот раз удержался.

– Дед, ну так а делать, делать – что?

Олег получил радость уже от того, что дед его услышал. Правда, хотелось ещё и житейского, простого совета. Какого-нибудь примера из тех, которых без счёта имелось в дедовской памяти.

– Делать что? – повторил тот, и Олег внутренне напрягся от радости: далеко не у каждого есть такой дед. – Делать... У нас в деревне возле дома ель знаешь?

Олег кивнул. Вспомнил высоченную ёлку в двадцати метрах от крыльца, на которую он так отважно и профессионально залезал в детстве, чтобы за три километра увидеть идущую с автобуса маму.

– Так вот, мой дед Коля очень сильно ругался с соседом нашим, с Пошавой. Тому, видишь ли, вздумалось, что эта ель может упасть от старости и его дом придавить. Я его тогда

слушал, как он орёт через огороды, и мне тоже страшно от его слов стало. Мне тогда лет, наверное, десять или двенадцать было. И я, как сейчас помню, говорю дедушке: «Деда Коля, давай спилим! А что, если на наш дом упадёт?» А дед меня, помню, взял так на колени (он сидел за столом и чай из блюдечка пил) и говорит: «Попомни мои слова, Серёженька, вот Пошавы дом упадёт от старости, а эта ель ещё сто лет после стоять будет. Её, – говорит, – мой прапрадед посадил. Она ещё маленькая». Ну и что? Стоит ведь?

– Стоит, – расстроено подтвердил Олег. Он всё же ждал историю про женщин.

– А ещё интересная история с вязом. Ну, знаешь, я посадил перед домом вяз... Он сколько лет? Лет десять, наверное, всё стоял-стоял маленький, и только потом расти начал, когда корни плотно до воды добрались... Так вот, я его нёс с Орловой горы, это знаешь где? Да, далеко... Так вот, в наших краях вязов отродясь не имелось, никогда! И я всё интересовался – откуда же это. Потом пошёл специально туда, по берегу вокруг вяза ходил... Гляжу – а в корнях этого вяза старый лежит ствол. Так это, представляешь, его неизвестно за сколько километров, видимо, со льдом принесло, он прижился, пустил корни, выросло новое дерево! Так быстро растут деревья! Знаешь парк там, у театра? Мы когда сюда с покойницей, царствие ей небесное, переехали в пятьдесят восьмом, там же ровное поле находилось – Семёновский плац раньше был, – а что теперь? Парк! Вот одно плохо...

– Дед разговорился, речь его даже подвыровнялась. – В деревню меня не возят теперь. А мне же с моей болезнью – косить! Косить – это самое полезное! Я вот когда косил, у меня к концу лета – всё! Всё работало, всё слушалось! Наш дед Коля знаешь, как помер-то? А? Он до последнего дня работал в поле. Покосил целый день, поужинал, почитал газету. Лёг спать, а утром хватились – он мёртвый на спине лежит. Только колено одно согнуто от боли. Вот как!

Олег инстинктивно дёрнул рукой. Но часов у него не имелось, телефона тоже. А дед воодушевлённо встал и мелкими шажками пошёл к одному из комодов.

– Вот здесь... Вот...

Он принялся раскапывать верхний ящик, при этом роняя на пол тряпки, шкатулки.

– А!..

Он вспомнил и, встав на колени, открыл нижний ящик. Там тоже не оказалось того, что он искал. Тогда он поднялся и с шаловливым, как и прежде, смешком произнёс:

– Что я тебя путаю! Ведь в кабинете фотографии все!

Олегу на мгновение стало жутко от того, что он увидел. Посередине просторной дорогой комнаты, на россыпи печатных листов стоял на подгибающихся ногах маленький, цвета бумаги человек в полуспущенных трениках и вздёрнутой майке. Стоял, наклонившись на один бок, левой безвольной рукой почти касаясь колена, а мелко дрожащую правую держа согнутой в локте. Он выглядел необычайно худым,

остатки белых волос вразнобой торчали из лысого, покрытого пятнами черепа. Белые глаза не видя смотрели куда-то вдаль. Человек этот смеялся: голова его произвольно упала налево и тряслась, правая половина лица омертвела и абсолютно не двигалась, на левой половине чернело развернутое отверстие рта, из которого доносились отрывистые, кашляющие звуки. Олег сглотнул. Ещё ужаснее этого было то, что за дедовским плечом на комодѣ стояла большая чёрно-белая фотография импозантного мужчины, одетого в костюм а-ля Делон, улыбающегося так, словно он получил от жизни всё, о чём только может мечтать человек.

Прощаясь, уже стоя у двери, Олег хотел передать привет от матери, которая не общалась с дедом вот уже пятнадцать лет, сильно страдая от этого своего решения. Она мечтала увидеть отца напоследок и просила Олега договориться о встрече.

– Мама... – начал он, но раззадорившийся дед схватил его за руку своей прохладной глянцевой рукой и начал шепеляво, сбиваясь и торопясь, рассказывать:

– А этот Пошава, он сын деда Вани. Э... Так вот... А этот Ваня удивительной судьбы... Э... Человек. Их часть во время Виленской операции предали. В командовании оказался предатель, и целую дивизию привели и положили на ночлег в огромном овраге. А утром, когда они проснулись, оказалось, что все высоты по кругу заняты немцами. И те, как только рассвело, стали этих беззащитных людей расстреливать

пулемётами. Шестнадцать тысяч! Шестнадцать! Дядя Ваня рассказывал, что огонь шёл такой плотный, что пуля попадала в пулю, которая уже находилась в земле. Его спасло только то, что на него сверху навалились три мертвеца. При этом его самого трижды ранило – в руки, ногу... И вот представляешь – судьба! Его же потом взяли в плен, он до конца войны работал где-то батраком. Потом, когда французы победили, из Марселя плыл до Одессы, а от Одессы – пешком до наших мест! Так он потом, когда к нам немцев на лесоповал пригоняли, с ними на чистом немецком разговаривал... И ничего... Не злился на них... Нет... Он несколько раз говорил великую вещь: «Знаешь, говорит, Серёга, есть в жизни каждого человека видение, которое его преследует до конца. Я, говорит, никак не могу забыть, как вздрагивает эта рука, когда в лежащего на мне попадают пули». Представляешь! Это человек без образования, деревенский...

Олег, всё это время простоявший, держась за дверную ручку, улыбнулся деду. Попрощался ещё раз.

– Да, Олежка... Пока! – Дед вышел проводить его на лестницу, стоял в дверном проёме, белея в полумраке. – А я всё жду, когда подлечусь, – за новую книгу тогда возьмусь... Это только сейчас мне хорошо, а в другое время... Вот именно когда такое давление, очень хорошо с головой. Не шатает... Что называется, питерский климат хоть кому-то полезен! – И он снова задрожал смехом.

Олег кивнул в его сторону и побежал вниз.



\* \* \*

Он сидел за столиком в столовой бизнес-центра в компании двух девушек – своих коллег по работе. Девушки сочувственно смотрели на его лицо, подбирая слова поддержки. Олег выглядел подавленно. Он облокотился о стол, поник плечами. Его щёки покраснелись, в глазах блестела обидная влага.

– Всё... Прямо сейчас пойду и напишу заявление.

Женя вздохнула тяжело, как она всегда вздыхала в трудные ли, в радостные ли моменты:

– Ну да... Ладно бы, выговор сделал в своём кабинете. Но так орать при всех! Это просто гнусь какая-то.

Она тоже покраснелась. Девушка искренне сочувствовала Олегу.

– Я откуда мог знать, что ему так срочно? Он же не сказал, что надо именно к открытию и сразу сюда! – повторял он в который раз, плюхая ребром ладони по столу. – Откуда я мог знать, что телефон потеряю? А что будет эта давка в метро? Я и решил сначала к деду заглянуть, а потом уже туда... Я что ему тут, вообще, бегать за сорок тыщ должен? И так, блин, через весь город пёрся, чтобы забрать эти хреновы кондюки. Без машины, на метро!

Чем больше он так говорил, тем больше понимал, что мог бы, мог бы побегать. Самым противненьким казалось те-

перь то, что он сам просто как-то подсознательно не пожелал напрягаться, беспокоиться, прекрасно между тем зная, что из-за отсутствия этих деталей срывался уже на несколько недель важный для фирмы заказ. Ровно так же он не хотел напрягаться, «переламывать своё мужское достоинство», как-то подстраиваясь под Наташку, как-то додумывая необъяснённый в открытую смысл каких-то глупеньких, нужных ей лишь одной мелочей. Так же, как он не хотел заботиться о своём телефоне. Ему вдруг почему-то вспомнился тонкий, мышинный писк обиженного ребёнка. Он машинально потрогал рукой ещё побаливавшую немного скулу и тут же испуганно взглянул на соседок. На их лицах виднелось такое сострадание, такая поддержка, что ему сразу стало теплее.

– И чего я Майфон не включил этот, а? – добавил он с надрывом. От места, на котором обычно лежал его смартфон, веяло холодной пустотой. Она проникала внутрь и отнимала от его мира ещё какую-то часть, создавая сверлящее ощущение потребности в том, что могло бы её заполнить. Он грустно усмехнулся:

– Мучайся теперь!.. А я боялся, что за мной америкосы следить будут...

– Да ладно, успокойся, – развязно протянула Зоя, располагая свою когтистую лапку поверх его руки. – Ты же знаешь, что он истеричка хренова. Чё он, первый раз тут орёт, что ли?

– На меня – первый. – У Олега вздрогнул подбородок. –

Я не хочу...

Женя косо посмотрела на Зойкину руку, громко вздохнула и резко встала из-за стола. Олег ей нравился, как и большинству местных девчонок. По последним слухам, он освободился. С утра по этому поводу даже произошёл какой-то туманный скандал. Она быстрым шагом подошла к окошечку и сдала поднос с грязной посудой. Пересекая небольшое помещение столовой и ещё раз взглянув на сидящих за столом коллег, она с радостью заметила, что Олег отобрал свои руки от той и теперь сжимает их добела.

Директор орал на него так, что это слышали во всём здании. С матом, с оскорблениями. А Олег переживал и сам. Он приехал удивлённый и растерянный. Даже есть не стал от расстройства – только морс выпил. Его хороший телефон то ли потерялся, то ли украден на выходных, поэтому о том, что директор с утра поставил всю контору на уши, что, не дозвонившись до Олега, отправил другого инженера за товаром, тот узнал только тогда, когда в офисе поставщика ему отказали в выдаче по доверенности, и он дозвонился на работу с купленного дешёвенького телефончика. Женя шла по коридорам, обняв себя и склонив голову, чувствовала себя так же подавленно. Она занимала должность секретаря в этой фирмёшке и гнусную сущность директора знала более чем хорошо. Её бесил этот человек, заваливающий всех спешными и важными заданиями, замечающий только оплошности и неудачи своих подчинённых и неспособный отмечать их

успешные и ответственные действия. Стараясь внимательно выполнять свои обязанности, она давно уже видела, что поток дел слишком велик и что она не справляется. Но в ответ на все её жалобы директор вместо того, чтобы проверять и разбираться, сразу же начинал критиковать её за нерасторопность, намекать на некомпетентность. Первое время она прислушивалась, пыталась найти причину в себе, оставалась вечерами, писала служебки с предложениями. Но от этого ничего не менялось, а от вечерних бдений в офисе личная жизнь, как ни странно, налаживаться не хотела. Поэтому теперь ей ничего не оставалось делать, как распихивать невыполненные задания по углам, присматривая одновременно с этим другую работу, чтобы свалить до того, как необработанные бумажки хлынут из всех щелей.

С личной жизнью шло как-то так... Она уже не хотела шутить с личной жизнью, как раньше. Близился двадцать шестой год; она не могла о себе сказать, что красива... скорее мила, чем красива; между тем, чётко зная свои ценные качества, она установила достаточно высокую планку для претендентов. Ей требовался симпатичный, умный и способный ценить человек, вот по типу Олега. В отношении него у неё и раньше уже мелькала безнадёжная, заставляющая горько вздыхать мысль, а сейчас она промелькнула, обновлённая, уже второй раз за день: ей представилось, как она начинает встречаться с ним, как они съезжаются вместе в однокомнатной квартире, и у них сразу освобождаются дополнительные

средства для начала суеты с ипотекой...

Думая об этом с серьёзным выражением на лице, Женя зашла в приёмную и села за стойкой, на своё рабочее место. Она не смогла сдержать усталого вздоха, бросив взгляд на экран: за время её получасового отсутствия пришло порядка тридцати писем. Решив, что это слишком, она разместила на столе свой смартфончик и принялась проверять личную почту, новые посты. Пару раз её отвлекали входящие звонки, и она нехотя, не напрягаясь до милоты в голосе, снимала трубку и переводила, куда просили. Вообще, после этого кризиса денег ей перестало хватать совсем. А хозяин комнаты угрожал с месяца на месяц поднять ставку, ссылаясь всё на него же. Теперь на свою зарплату она могла разве что питаться; она уже забыла о всяких маленьких радостях типа похода на концерт или нового платишка; мама всерьёз звала её вернуться в Ишим, и от реалистичности этой перспективы Женю бросало в дрожь; от постоянного волнения по всем этим поводам у неё вновь проснулся залеченный было гастрит... А директор, несмотря на то, что все продажи в их фирме шли по курсу евро, а сам он утомился от смены машин, блондинок и облезавшей от загара кожи, не прибавлял людям ни копейки, используя слово «кризис» как какой-то сакральный символ, от призывания которого всем окружающим сразу становится легче. Она возмущённо вздохнула и перешла в мессенджер – там для неё понападали сообщения. Открылась дверь в приёмную, и появился Олег. Её глаза

сразу прилипли к листку бумаги, который он держал в руках.

– Что, неужели ты серьёзно? – спросила Женя испуганно. В её мечтах забушевал дикий кризис.

– Передай, пожалуйста, директору, – чужо попросила маска Олега. Он так напрягся, что его лицо не могло ничего выражать. В Жениной панике промелькнула спасительная мысль: не придержать ли заявление до завтра, пока он отойдёт и передумает, но, словно что-то почувствовав, лицо вновь разомкнуло губы: – Сними мне, пожалуйста, копию и распишись с датой.

Женя суетливо вскочила, неловко рванулась к копиру, смахнув со стола на пол несколько канцелярских предметов, подписала полученную копию и протянула ему поверх стойки, стараясь не смотреть в глаза. Олег развернулся и пошёл на выход. Из-за его спины донёсся усталый вздох вечного недовольства. Медленно идя по длинному коридору, он обдумывал, что же с ним происходит. При этом он даже не замечал, что снова и снова складывает всё уменьшающийся листок пополам. Только добравшись до двери родного кабинета, он обратил внимание, что сил уже недостаточно, чтобы сложить ещё раз, а присмотревшись, увидел, что держит в пальцах книжечку размером в два ногтя. Олег дёрнул дверную ручку и вошёл. Поток эмоций ударил в него холодной волной при виде знакомых стен. Горло ему сдавило, стало трудно дышать. Он вдруг осознал, что происходит, понял, что по своей же воле теряет свой привычный мир!

Положив смятую бумажку в карман брюк, он сел на рабочее место.

– Ну чего, отдал? – спросил сидящий напротив него бритый под «ноль» полненький Данила.

– Отдал, – вздохнул с дрожью Олег.

– Ну, забудь теперь про неофициальную часть, – донёсся из угла голосок Вадима. – Я ж ты предупреждал...

– Да не, ты что, он почти никого не кидает, – начал спорить с ним Данила.

– Не волнуйся, не волнуйся, – поддержал того Николай, сорокалетний седоватый человечек, он занимал должность ведущего конструктора. – Он поруководить-то, может, и излишне любит, но он действительно не обманщик. Вроде как... Если что, я поговорю с ним.

Олег кивнул. Про эту новую проблему он как-то в возбуждении и не подумал. А заначки у него почти не оставалось; а оплата за квартиру уже не за горами; если директор его действительно кинет, то жить ему будет абсолютно не на что. Что делать тогда, крутилось в голове – сдаваться, бежать «к маме»?

– Да ты подумай, а? Может быть, останешься? Чего там... – обнадёживающе проговорил Николай.

– Не, не... Я не могу так, – пробормотал Олег.

Он действительно чувствовал, что не может. Это было прямо-таки выше его сил. Что-то внутри не предназначено было принимать такую обиду, ровно так же, как не предна-

значался его организм для приёма насильно пихаемого табачного дыма. Олег мучился, но знал, что другого выхода нет.

Эта работа была для него первой – он пришёл сюда прямо из института. С ребятами за три прошедших года он плотно сдружился (только мутный Вадик пришёл пару месяцев назад). Николай же вообще учителем для него стал – сделал из него, пробакланившего пять лет в институте, что-то, хоть отдалённо напоминающее конструктора. От высиженного тут времени он и забыл уже о своих прежних сомнениях про выбор профессии, о том, как он мучился, идти ли ему по специальности, или подаваться в менеджера, «продавая душу» за более быстрые проценты... Теперь всё это как-то сразу возвращалось нерешённым волнением вдобавок ко всем многочисленным расстройством, которые уже плотно владели им.

– Не могу... – повторил он, понимая вдруг, что не может не то что смириться с самим оскорблением, а скорее, смириться с тем, что вот эти ребята будут про него тогда знать, что он, Олег Богатырёв, – человек, которого можно при всех называть «дебилем».

– Не волнуйся, Олег, – сказал вдруг Николай, словно прочитав где-то, о чём он думает. – Если решил – будь мужиком. Привыкнешь, постепенно, переменять работу. Ничего в этом страшного нет... А к нам в любое время сможешь прийти. Правда, ребята?

Все дружелюбно закивали. Николай встал с кресла, взял



пачку и зажигалку.

– Не... Не могу уже. Умру, если хоть одну ещё выкурю, – честно сказал Олег в ответ на его приглашение.

– Да, он прав, ему нелегко теперь придётся. Где ещё дурачков на такую зарплату найдёшь? – как всегда, невпопад произнёс Данила, когда за Николаем закрылась дверь. – Хотя... У меня вон знакомый начальником работает – по пять человек в месяц меняет. И ничего! Конвейер.

Олег вздрогнул. Представил, что в этом тихом уютном кабинете – на жёлтых стенах которого, как напоминание о прожитом времени, висят созданные им лично таблицы, инструкции, прикольные плакаты, расположение предметов в котором ему знакомо до автоматизма, до закрытых глаз, который даже по ночам иногда снился ему тёплым символом отдыха от жизненных проблем, отдыха, не работы – в этом кабинете через месяц будет сидеть другой человек; его же здесь не будет никогда.

– А в новостях ничего нет про давку на «Владимирской», – тихо протянули из угла.

– Не знаю... Она быстро закончилась. – Олег не хотел говорить, но почувствовал вдруг, что нужно оправдаться. – Там люди снимали. Может быть, выложено где?

Повисла напряжённая тишина. Он продолжал тупо глядеть в стену. Мелькали взблески звериных глаз, вываливался надутый язык, дрожала протянутая неумелой лодочкой маленькая рука. Он вдруг почувствовал, что никому нет ника-

кого дела до того, кто будет сидеть за этим столом через месяц. Замученный голодом и табачным дымом желудок сжался, надавив на горло гадкой рвотной жижей. Олег напрягся и наклонился над столом.

– Нет... На ютубе нет... В контакте тож... – Голос из угла доносился точненько и вежливо.

– Да ты на что это намекаешь? Что я вру? Вру, да?

Олег даже вскочил со своего места и опёрся кулаками о стол.

– Успокойся, успокойся! – испуганно выпучив глаза, забубнил прикольный Данилка.

Вошедший Николай быстро оценил ситуацию. Он положил тяжёлую руку на олеговское плечо. Нахмурил брови и покачал головою в угол.

– Не волнуйся, Олежка... Всё нормально, – произнёс он непривычно низким и уверенным голосом.

Олег опустил на стул с виду нехотя, но в действительности ему стало легче.

– К деду тоже заехал сегодня посоветоваться, – проговорил он успокоительным тоном, обращаясь только к Николаю, словно чувствовал себя обязанным ему что-то объяснить. – Так всё никак не мог вырваться... У старика Паркинсон, на мертвеца похож, – он карикатурно показал трясущегося маразматика, – а всё лепечет свои небылицы деревенские. Ну хоть повидал... Может, в последний раз... – Помолчав немного, добавил. – Хотя, представляешь, он верит,

что выйдут какие-то таблетки, и он ещё сто лет проживёт! Верит! Представляешь?

Николай слегка улыбнулся и покивал в ответ головой.

– Видали? Навалькин новое расследование разместил... Полный капец, – сказал он озабоченно.

\* \* \*

– У меня у знакомого сейчас расширение идёт, людей набирают, – словно пытаясь что-то припомнить, сказал Данила. Они всем отделом вышли с работы и стояли на оживлённом проспекте перед входом в здание. – По-моему, даже где-то на севере... На Академке, что ли?..

– Да ладно, небось милостыню не придётся просить... – как-то вот так, как всегда, вызывая двойственные чувства, произнёс Вадик.

– Пойдёшь просить – никто и не даст... – хмыкнул Олег и посмотрел вслед симпатичной, деловито говорящей по мобильнику женщине с коляской. Ему почему-то подумалось, что могло бы заставить её встать в переходе и, истекая тушью, из-под ребёнка, одетого в зайчиковый комбинезон, высовывать ладонь с аккуратно покрашенными ногтями.

– Эт смотря как пойдёшь! – тоже провожая её взглядом, тоненько заржал Вадик, утянув за собой и Данилу.

– Не волнуйся, – серьёзно проговорил Николай. – Главное – не тяни! Прямо сегодня размещай резюме – через неделю

точно что-нибудь найдёшь. Я тебя буду отпускать пораньше!

И он весело подмигнул.

– Да, точно. Он говорил, что в "Девяткино" с кольца съезжает. Тебе совсем будет удобно! – вспомнил радостно Данила.

У Олега в груди что-то сжалось. Захотелось их всех обнять, говорить им что-то очень хорошее. Долго-долго. Пискляво зазвонил его новый телефон, вмиг возвращая ко всем аспектам действительности. Олег поднёс его к уху, одновременно кивая всем ребятам, пожимая им руки на прощание.

– Ну чего, ты ко мне едешь? – громко орал динамик.

– Привет, а чего такое случилось? – спросил Олег. Звонил его дядя Валентин.

– Как чего? – продолжал орать телефон. – Ты говорил – заедешь. Я тебя жду. Жду!

– Дядь Валя, так я так говорил, в принципе. Мы ж заранее никак не договаривались.

Олегу хотелось поскорее добраться до дома. Не для того, чтобы разместить резюме, и даже не для того, чтобы поесть (хотя он и проголодался дико), а для того, чтобы тупо вытянуться и полежать – забиться куда-то и понять, что, блин, вообще происходит...

Мысли сновали и толкались, как люди на проспекте, как машины, неизвестно откуда и неизвестно куда.

– Так... То есть не приедешь... – голос в телефоне как-то угрожающе замедлился. – Мне тут помирать, что ли?

– Ну хорошо, хорошо... – сдался Олег, вспомнив про квартиру. – Всё равно мне по пути. У тебя пожрать-то чё будет?

Дядя Валя являл собой довольно занимательный типаж. Сколько Олег себя помнил, тот всегда работал охранником или вахтёром. При этом когда-то давно он служил в крупном проектном институте, развалившемся в самом начале девяностых, и в семье к нему сформировалось отношение как к некоему непризнанному гению, отвергнутому миром. Решающая заслуга в этом принадлежала бабушке Ане. Всю свою жизнь она прожила только ради своих маленьких мальчиков, Валеньки и Лёшеньки. И если младшего Лёшеньку некогда оторвала от неё жестокая судьба, представшая в соблазнительном образе другой женщины, то с Валенькой судьбе не удалось сотворить столь же похабную штуку. Всю силу своей любви, всю материнскую заботу отдавала бабушка Аня ему до конца своих дней. Даже в последние годы, когда у неё, больной, уже практически не имелось сил и она от изнеможения ругалась с ним, призывала хоть как-то понапрягаться, хоть что-то сделать по дому, встречая в ответ упорное, полное «мужского достоинства» сопротивление, она даже тогда, вдруг вспомнив что-то, останавливалась на полуслове и шла теребить в тазу неотстирываемое бельё или брала истощённый веник и, согнувшись пополам, разгоняла по полу липкую пыль. На лице её тогда играла тихая, из другого какого-то мира улыбка. С этой улыбкой три года назад и нашёл

её дядя Валя. От чрезмерной нагрузки, вызванной поднятым тазом белья, оторвался тромб... С тех пор о нём совершенно некому стало заботиться; он жил в большой одинокой квартире сталинского дома; он стал всё больше болеть, так, что кто-то обязательно всё же вынуждался приезжать к нему хотя бы время от времени, чтобы хоть что-то для него сделать...

Олег стоял в забитой маршрутке, медленно ползущей в вечерней давке. Думал, опустив глаза на чью-то подрагивающую от неравномерных толчков руку. Внутри ощущался прохладный металл голодной пустоты, приправленный неизбежным табачным привкусом воздающей по заслугам совести. Потерянный телефон, потерянная женщина, потерянная работа...

Вот какие важнейшие и насущные проблемы тяжким грузом потерь давили на его плечи, стекали вниз по лицу грустной, ослабевшей жижей.

Он поднял взгляд на суетящихся за окном людишек: они куда-то спешили непрерывной пингвинистой толпой... Глазели на цветастые рекламы, раскрывали немые губы.

Олег вздохнул и вновь опустил глаза. Уголки его рта горько вздрогнули.

\* \* \*

Зайдя в супермаркет, одной рукой он привычно схватил

корзину, а другую сунул в карман в поисках смартфона, в котором хранился дежурный список покупок, обозначенный как «Д.В.». Вместо смартфона рука нащупала лишь плотно смятую бумажную книжечку. Олег приостановился у стенда с молочкой, направляя взгляд в наполненный серыми трубами потолок и гримасами рта помогая себе восстановить в памяти дежурный список. Пока он так стоял, мимо пролетел лёгкий, приятный смешок. Олег обернулся вслед и напряжённо сглотнул. Тонкие стройные ножки на высоких каблучках остановились в нескольких метрах позади него, одна ножка скользнув чуть в сторону, элегантно присогнулась в колене, маленькая ухоженная ручка протянулась к большой по сравнению с ней круглой белой банке и, обхватив её и немного проведя по ней вниз, сдавила. Олег лизнул мгновенно пересохшие губы и заворожённо потянул голову вбок, стараясь разглядеть лицо. Но оно скрывалось за густой причёской длинных завитых волос, шаловливо играющих во след движениям юной хозяйки. Лёгким жестом она кинула бутылку в тележку и, легко подтолкнув, продолжила путь. Он смотрел ей вслед, уже мечтая обхватить это стройно извивающееся тело в строгом юбочном костюмчике. Он ждал, когда девушка повернёт, чтобы наконец разглядеть её... Она дошла до конца стеллажа с цветными коробочками и, резко развернув тележку, последовала за ней... Но в тот самый момент, когда её профиль уже почти стал доступен для оценки, она, как назло, отвернула голову и так, отвернувшись, скры-

лась за углом.

Олег быстро схватил обязательное в списке «Пискарёвское» молоко, не взглянув даже на дату, перебежав к следующему холодильнику, взял из него «Пискарёвский» же творог. Разочарованный утренней потерей, он не собирался принимать новой утраты. Ему обязательно требовалась хотя бы эта красавица. То, что он может получить её, объяснил уже звук её смеха. Олега достаточно хорошо обучили мужскому ремеслу, чтобы он умел по одному лишь блеску глаз, по одному лишь тембру голоса определить, что нравится женщине. Не теряя ни минуты, он продолжил уверенное движение. Словно подсознательным чутьём, на грани слуха он различал направление, в котором сквозь наполненный спокойной музыкой воздух удалялись звонкие колокольчики каблучков. Стараясь не привлекать излишнего внимания, он следовал за нею на расстоянии. Проходя мимо стенда с крупами, на секунду оторвался от преследования, чтобы кинуть в тележку несколько пачек геркулеса. Принюхался – голову немножко повело от едва уловимого аромата, в котором содержалось очень много солнца и любви. Издали заметив, что она зашла в чайный отдел и не сможет без его ведома пересечь открытое пространство до касс, он не спеша зашёл в овощной, взвесил там здоровый кочан капусты, взял пакет с картошкой. Оставалось забрать только «Дарницкий», и он с какой-то уверенной уже внутри улыбкой покатил свою тележку к хлебному отделу. Конечно, она ждала его там, опять



отвернувшись и опять оглаживая нежной рукой красивые упаковки, выбирая себе одну из них. Он подошёл с другой стороны хлебного развала и тоже неторопливо стал перебирать половинки «Дарницкого», выискивая из них одну с самой свежей датой. Между ними имелась лишь пара метров, их разделяла заваленная продуктами стойка, но притяжение чувствовалось так явно, словно они уже слились в одно. Он снова не мог разглядеть её лицо, так как оно было сокрыто за низко подвешенной вывеской отдела. Взамен этого он снова уловил жёлтый запах, и он понял, что это точно был её аромат. Как будто её разгорячённое тело призывало его идти за собой по этому сладкому следу.

Сердце его учащённо билось, грудь вздымалась выше обычного – у обладательницы такой фигурки не могло быть недостатков.

Плотно обхватив его, она пошла к кассе. Он шёл за ней метрах в десяти, но чувствовал так, будто она уже держит его за горячую руку и ведёт, добивая сумасводными бёдрами, в спальню. Когда он подошёл и встал за ней, она что-то отвечала кассирше вежливым, миленьким голоском, выкладывая на ленту свои покупки: пару булочек, кефир, зелень какую-то. Падая вниз с недосыгаемой, залитой ярким жаром высоты, Олег чуть наклонился над её плечом и произнёс, улыбаясь, выдыхая вместе со словами следы сладкого облака:

– Это вы себе на неделю купили?

Девушка, ничего не отвечая, повернулась к нему с нежной, дрожащей на губах улыбкой, с широко открытыми, напряжённо ждущими глазами. Олег почувствовал на миг, как его кости размалываются в хлюпкую и склизкую труху от неимоверного удара о землю.

Она была даже не мила...

Тем не менее, помня свежий урок, он смог быстро совладать с собой и не позволил слишком расшириться испуганным зрачкам. Он ещё раз улыбнулся и добавил:

– Ради такой фигурки стоит пойти на жертвы!

Она быстро отвернула от него лицо, буркнув что-то вроде «спасибо». Кассирша, с сочувствием наблюдавшая за этой краткой сценой, проводила взглядом чересчур суетливо схватившую пакет девушку и по-родному улыбалась Олегу, пробивая его товары.

Ему почему-то живо представилось, сколько ночей провела эта девушка, заливая слезами подушку, сколько отвращённых взглядов видела с глубокой обидой она, поворачивая где-нибудь в спортзале своё невозможное лицо к очередному привлечённому её изгибом самцу. Собрав свои покупки в пакет, он с лёгкой неприязнью заметил, что она стоит неподалёку, у киоска с кожаными товарами, что-то разглядывает, красиво наклонившись и умело показывая свою попку. Чувство создалось странное. Опять само собой представилось, как он подходит к ней сзади... Но он уже видел её лицо и не имел возможности представить себя рядом с нею

до и после сцены совокупления...

Тем не менее, что-то заставило его подойти и остановиться рядом:

– Вам помочь?

Она обернулась к нему с улыбкой. Уже успела подготовиться и взять себя в руки. Только волнение ещё слышалось в голосе:

– У меня сигнализация чего-то пикает... Я вот думаю, что батарейку поменять нужно.

– Можете показать?

Она кивнула и кинулась, может быть, излишне резко, копаться в сумочке.

– Вот.

Она передала Олегу таблетку иммобилайзера, при этом коснувшись его ладони пальцами и тут же метнув быстрый взгляд в его глаза.

– А... – протянул Олег. – Это круглая вам нужна. Двадцать двадцать пять, по-моему. В этом ларьке их точно нет. На заправках продаются.

Он только что видел такую батарейку на кассе, но напрягаться сейчас не хотелось.

– Хорошо, спасибо! – с искренней благодарностью улыбнулась ему страшная девушка и, взяв из тележки свой пакет, сделала движение к выходу. Он последовал за ней, не понимая, как он мог во всё это ввязаться. Прямо за дверьми стояла недешёвенькая машинка, по цвету хорошо подходящая

к её костюму. Олег мельком глянул на правую руку девушки, кольца не имелось. Поймав ли его взгляд, или ещё как, она, словно оправдываясь, сказала:

– Я тут неподалёку, с подружкой снимаю... С института вот еду...

Они на секунду замолчали. К нему вдруг снова подкатила жалость при виде расширяющихся испуганно зрачков... Да и марка эта ему всегда нравилась... Он вдруг представил себе, как сидит за рулём...

– Вам можно будет позвонить как-нибудь? – спросил он, нежно улыбнувшись.

– А вы точно... – Она не смогла завершить фразу, осеклась на полуслове.

– Я точно позвоню, – успокоил её Олег, но только не словами, а многозначительным взглядом, жёстко огладившим её стройное тело.

– Хорошо! – поняла она и обрадовалась. – Меня зовут Диана!

Она протянула ему визитную карточку. Он удивлённо поднял брови.

– Я визажистом подрабатываю, – пояснила она.

– А... – улыбнулся снова он. – А меня – Олег...

Он пожал легонько её ручку на прощание и проводил взглядом её машинку. Встряхнув пакет, отправился к пешеходному переходу. Дядькин дом виднелся неподалёку.

При каждом своём визите к дяде Вале Олег поражался необычайной разрухе, грязи, в которой тот существовал. Между тем каждый аспект этой разрухи имел чёткое, логичное объяснение. В прихожей, а там и дальше, по всей стометровой квартире, на полу лежал толстый слой истёртых песком и пылью газет, нужных для того, чтобы впитывать влагу с уличной обуви (соответственно, отказавшись от уборки полов). На старинном кресле у входа лежала груда какого-то пахучего хлама, предназначенная для того, чтобы не тянуться к вешалкам при одевании в тот редкий день, когда наконец понадобится выйти из дома. Тут же, среди прихожей, стояли разнузданные ботинки – без шнурков, ну, чтобы исключить потребность в наклонах.

Дядька выглядел соответственно. Треники болтались на середине ягодиц, рубашка, застёгнутая на одну лишь пуговицу, перекосилась, он стоял, подогнув одну ногу и опираясь на локтевые костыли, кисти рук были сокрыты под обрывками какой-то чёрной ткани; как у клоуна торчащие по сторонам лысины белые копны волос какое-то время покачивались после каждого резкого движения головой, на исхудавшем лице выражалась смесь непрерывного отчаяния с вечным недовольством. Объяснялось всё, опять же, достаточно логично и просто: у дяди Вали имелась собственная россыпь заболеваний, из которых следовали противопоказания к хождению,

движению руками, наклонам, еде... В общем, он существовал в тёмном лабиринте врачебных ограничений.

Олег поздоровался и вступил в полумрак, не снимая уличной обуви. Только тут он вспомнил, что не купил себе никакого перекуса из-за этой охоты за «красавицей».

– Слушай, а у тебя есть пожрать-то чё? – спросил он дядьку, относя на кухню пакет и начиная его разбирать.

– Ты ж только что из магазина! – сообщил неожиданную новость голос дяди Вали, пыхтящего где-то в тёмных глубинах. – Ничего не купил?

– Блин, если бы купил – не спрашивал. Забыл себе купить!

Пыхтящий дядя дошёл до кухни и остановился в дверях. Зайти в кухню вторым он не мог из-за мусора. Мусор весь, естественно, был нужный.

– Посмотри в холодильнике. Там сыр у меня есть.

Олег, уже готовый к результату, открыл дверь холодильника. Свет в холодильнике не работал, а на кухне стоял полумрак от прошитых скрепками штор (у дядьки болели глаза), и он с трудом различил какой-то желтоватый кусок в полиэтилене. Взяв и почувствовав под пальцами кирпичную твёрдость, он спросил:

– Это семидесятого года, иль пораньше? Сразу выкинуть, или сам?

– Оставь, оставь! – тут же всполошился дядька. – Я его потру... Потом...

Олег со вздохом швырнул кусок обратно. Запихнул мо-

локо, творог. Закрыв дверь холодильника, выложил крупу и хлеб.

– Ну я тогда ненадолго. Блин, голодный я!

Дядькины копны прямо-таки пудингами затряслись от волнения:

– Ой... А как же посуда! Как же мне кушать?

Из раковины выростала гора. Тарелки игриво подмигивали зачерствелыми кусочками каши.

– Слушай, ну а что тебе будет, если сам-то помоешь, а? Отвалятся твои руки? – раздражённо спросил Олег. Он не собирался, как бабуля, терпеть этот детский сад и очень легко злился на лентяя. Олег был поздним ребёнком и на себе испытал разлагающую силу женской ласки. Но, имея такой яркий пример перед глазами, он всеми силами старался исправлять себя, следить за собой. Отсюда, наверное, и пошла его привычка к самобичеванию...

– Ты что! – со злобой в голосе накинулся на него дядька. – Мне врач запретил... За-пре-тил! Вообще что-то брать руками. Сказал, если суставами двигать, пока принимаю препарат – ничего не пройдёт.

Олег, прекрасно зная своего дядю, покачал головой из стороны в сторону. Спорить с ним не стоило даже и начинать, это было упорство сумасшедшего. Но сейчас Олег не мог удержаться:

– Бля, а что он ещё сказал? Сказал, что вы, Валентин Петрович, лучше с голоду помрите, а ручками не двигайте? Ска-

зал?

– Да ты что ты понимаешь!.. – начал сразу повышать голос дядя Валя.

– Да что понимать-то! – перебил его Олег. – Вон бабка Груша в деревне – сколько себя помню, стонала: «Руки не гнутся... Руки не гнутся...» То ж самое у неё с суставами происходило! Бля, до девяноста лет дожила и каждое лето в огороде этими руками копала... Терпеть надо!

– Да как терпеть! Они же застрянут, и всё! Не смогу вообще двигать! – Когда дядька нервничал, костыли начинали вытанцовывать чечётку. – Как тебе не стыдно такие вещи говорить. Это подло!

– Так... Ну я тогда пошёл? – с наездом произнёс Олег, сделав движение в сторону двери.

– Ой... Не-не-не... – Дядька сжался, в глазах его мелькнул искренний ужас. – Я не буду...

– Ладно, помою... – Олег снова покачал головой и вздохнул. Какое-то время назад он с удивлением для себя понял, что дядька реально верит в то, что говорит о своих болячках, реально живёт в этом. – Только немного. Хоть чаю мне вскипяти!

Дядька пополз, как Джон Сильвер, к плите, а Олег щёлкнул пультом от маленького телевизора и пошёл в туалет. Оporожняясь, он привычно разглядывал при тусклом свете помещение толчка, прикидывая: что нужно будет снести, стоит ли объединять туалет с ванной при предстоящем ре-



монте. Эта мысль, он понимал, вроде бы приходила преждевременно, и он всякий раз гнал её из себя с брезгливостью, но она никуда не отступала. Вот, например, думать так о дедовской квартире, ради обладания которой следовало посетить загс с истеричной младшей тётушкой, ему не могло быть до тошнотиков. А эта мысль такой наивной, такой простенькой прикидывалась. Говорящей, что рано или поздно, а ремонт точно начнётся, так почему бы пока не поприкидывать...

Когда он вернулся, дядька двумя замотанными кулечками всё ещё пытался налить воду из литровой банки, в которой болталась серебряная ложка, в обгорелый ковшик (костыли при этом попадали, и он прекрасно стоял на двух ногах, забыв, что это очень опасно). Ведущий федерального ток-шоу с яростью на лице диктовал что-то очередное про «бандеровцев», про «приспешников Запада». Олегу стало тоскливо от этого, захотелось побыстрее сбежать. Он отогнал дядьку и налил воду сам, потом очистил кусочек столешницы, сдвинув в сторону груды пустых пакетов из-под молока, закатал рукава рубашки и принялся кое-как мыть посуду.

– Ну а ты молоко-то свежее купил? – спросил дядька, изображая теперь ампутанта со спичками.

– Блин, я не посмотрел даже.

Олег округлил глаза в направлении стены. Это был залёт. Все родственники уже давно знали (из крививших рот поздних звонков), что молоко нельзя покупать более чем со вчерашней датой производства, что только «Пискарёвский»

творог ещё выпускается по советскому ГОСТу, что только на рынке ещё можно найти нормальные, не накачанные мясо и овощи...

Рассыпая спички, дядька ринулся в холодильник, где принялся копать совсем как здоровый, вдобавок к костылям забыв ещё и о дикой боли в выскочивших из-под «греющих» тряпочек руках.

– А... Четыре дня... – протянул он голосом отравленного, крутя в руках пакет. – Ну нельзя же покупать такое старое! Там уже с третьего дня необратимый процесс начинается. Моя язва может вскрыться от этого, ты что, не понимаешь!

– Ну, блин, всё равно другого не имелось, – отвякнулся Олег. Что-то подобное происходило каждый-прекаждый раз.

– А капусту! А... – Дядька выпучил в ужасе глаза, став похожим на несчастного янки, узнавшего из передачи на Первом всю правду о своей стране. – Зачем такую большую взял! Мне же килограмм нужен, не больше! Это всё что, выкидывать теперь?

Олег прекрасно знал, что есть дядька будет всё, что просто ему надо дать немного кем-то поруководить, что такой типа ритуал, но сдержаться всё равно не мог. Тем более что за дядькиным плечом мельтешила завлекательная реклама знакомой машинки, обещающая чувство превосходства от обладания динамичными линиями.

Вся эта дикая клоунада с новой силой стучалась в его припухшем мозгу.

– Хорошо, всё... Давай! Забираю всё и поехал! – грубо сказал он.

– Ну что ты меня теперь, шантажировать будешь? – взъелся снова дядька. – Подожди, подожди немного ещё, недолго вам ещё терпеть осталось. Скоро, скоро начнёшь ремонт делать...

Олег испытал прилив стыда от столь точного попадания в цель. Самым противным ему показалось то, что он видел: в глубине души дядька верит, что говорит неправду.

– Да блин... Я вообще голодный целый день. С работы уволился, с девчонкой расстался. А ты тут со своими бактериями. Это нормально вообще? – произнёс он примирительно, продолжая смывать намыленные тарелки и миски.

– О, хоть хлеб нормальный... Хоть хлеб смогу есть... – Дядька тоже нашёл точку для примирения. Он кое-как нагнулся, подняв костыли. Встал в свою обычную позу. – Не могу я уже мучиться. Всё думаю, как бы закончить это всё побыстрее...

Олегу стало жалко его, и он бросил сочувственный взгляд на маленькую скрюченную фигурку.

– Не говори глупости, дядь Валь... Ты же знаешь... – Он хотел сказать «что всё это сам для себя напридумывал», но каким-то внутренним чутьём уже узнал, что его не поймут, поэтому сказал: – Что выздоровеешь, если будешь лечиться!

– А-а-а-х... – только и вздохнул дядька в ответ.

Олег домыл какую-то часть посуды и составил её стопкой

сушиться на застеленный полотенцем клочок столешницы. Им же вытер руки.

– Ну, побегу я. Хорошо?

– Как же... Ты даже чаю не попил... – засуетился запоздало дядька. – У меня ещё печенье лежит. Будешь?

– Нет, я уж лучше дома поем, – ответил Олег. – Пойду я, ладно?

Перед уходом он зашёл в бабушкину комнату, где стоял книжный шкаф. Одеяло на бабушкиной постели было приоткрыто точно так же, как и три года назад, на тумбочке у изголовья кровати всё так же стояли пузырьки с её лекарствами, лежали положенные аккуратной рукою очки. Название сразу кинулось ему в глаза и он взял с полки «Идиота», согласно покачав головой, типа: «Эт про меня...» Захватив ещё какую-то книжонку, он положил обе в найденный тут же, в слоях напольных газеток, пакетик.

Выходя из комнаты, он вздрогнул от случайного совпадения. Дядька уже дополз до кресла в прихожей и теперь сидел на его краешке, положив «больную» ногу на «здоровую» и прикасаясь к колену тряпичными культиями: поза его очень напоминала виденную недавно Олегом статую. Сидящая фигура погружалась в полумрак, из которого свет выделял одно лишь лицо. Олег накинул свою куртку, звякнул входным замком и обернулся в дверях:

– Ну, я пошёл! Звони, если что!

Дядька сидел молча. Олегу показалось, что губы его дро-

жали.

– Спасибо тебе, Олег, – неожиданно произнёс дядя каким-то новым, живым и глубоким голосом. – Спасибо тебе большое.

Слёзы сами собой подступили к глазам Олега. Ему вдруг ясно представилось, как проходят дни этого ненужного, сведённого к непрестанному ощущению своей боли человека. Мелькнула... нет, правда, у него даже мелькнула мысль броситься и обнять, что-то сделать для него, как-то помочь... Но он никогда в жизни не обнимал своего дядю... К тому же его нога уже переступила порог...

– Да ну что ты... Не за что благодарить! Что ты говоришь такое, – нежно, насколько был способен, произнёс он. – Ну, я побежал?

– Деньги-то... Деньги возьми! – спохватился вдруг дядька, вставая.

– Да не надо, ты что!

И Олег побежал вниз по лестнице.

\* \* \*

Выйдя из парка к остановке, он увидел, что в сторону Просвета творится какая-то жуть, поэтому пошёл пешком до Удельной. В его измученном многочисленными переживаниями, стонущем от голода сознании дрожала и волновалась плотная тёмная масса недавних впечатлений, время от вре-

мени прорезаемая вспышками самых ярких образов. Наташенька орала на него, орал на него директор, дед страшно хохотал ему в глаза, поддерживаемый сумасшедшим хихиканьем Вадика, машины с включёнными фарами бежали навстречу, и в них сидели Дианы: сколько он мог видеть, везде, и впереди, и позади колыхался один и тот же плотный коврик сплетённых между собой людских тел, тянувший его в одном направлении, только вперёд, вперёд... Впереди же, дома, его ждала тикающая часами чёрная пустота. Сжимая в руке пакетик, он торопливо шёл, обгоняя несчастных пешеходов и думая о том, что только что говорил ещё с одним мертвецом. Освещённое лицо до сих пор стояло перед его глазами, ярко выделяясь на фоне всех других мерцающих образов. Лицо мертвеца, про которого все, кроме него, уже всё давно поняли.

Проходя мимо ларька с шавермой, Олег сглотнул подступившую противную слюну. Он твёрдо решил как можно быстрее добраться домой, забиться на кровать и думать, думать, думать...

Грохот и шум метрополитена смешались с грохотом его мыслей, лишь только Олег добавил своё тело к нескончаемому потоку людей. Люди окружали его со всех сторон. Они о чём-то размышляли, глядели на бегущие за стеклом провода, жевали, чесались, говорили о каких-то важнейших мелочах, читали, ещё сильнее освещая свои лица светом поднесённых к глазам экранов.

А он был один. И ему в одиночку предстояло начинать всё с начала, восстанавливать всё из руин. Заполнять зияющую пустоту на том месте, которое вроде бы надёжно и навсегда уже казалось заполненным. С нуля, с азов: буквально-таки с покупки смартфона!

Ему невероятно хотелось, чтобы кто-то огромным голосом, оглушающим их всех, отрывающим их от внутренних дел, прогремел вдруг: «Так, всем стоять! Помогать ему!» Но получающаяся в сознании картина оцепенелых людей, стоящих вокруг одного, протянувшего руку, пугала его – вдруг представлялось, что кто-то из толпы, вместо того чтобы протянуть ему руку в ответ, начинает указывать пальцем...

Поглощённый этим сумбуром, он даже бросил мелочёвку бренчавшему на подходе к эскалатору гитаристу.

Поднимаясь кверху, он тоже ни о чём не думал. Его рука бессмысленно теребила вытащенную из кармана пачку, глаза, не понимая, глядели на буквы прилипшей к пачке визитки. Он боялся поднимать глаза! По встречному эскалатору, доводя прямо до одури, спускались одно за другим горящие пятна лиц. Самым тошнотворным в этом видении было то, что все уже давно всё про других понимали, но ни один с упорством сумасшедшего не хотел признавать этого про себя. Олег перевёл тяжёлый взгляд на свой неподвижный ботинок – он знал даже, когда каждый из них начнёт оживать, выпучивая блестящие глаза и исторгая нездешние звуки: только когда тяжёлая волна докатится лично до него и со смерт-

ным ужасом выдавит из тела весь принадлежащий ему воздух.

Выйдя из дверей, он трясущейся рукой сунул в рот сигарету.

Вдалеке, в направлении Парнаса, виднелись разрывы красочных ярких огней. Кто-то запускал дорогой салют, и взблески его отражались в окнах домов, выхватывая контуры массивных четырёхугольников из окружающей их темноты.

Лишь когда Олег затыкнулся, он вспомнил и про голод, и про неприятие, но было уже поздно: он понял, что его рвёт и что ему уже не сдержаться.

Черноволосый парень с пакетиком в левой руке выглядел довольно мило, несмотря на выпученные глаза и на чересчур бледное лицо. Она поняла, что он попал, и с грустью вздохнула, отводя взгляд. К нему, преодолевая толпу, поспешали два сотрудника с торчащими из-под фуражек хищными, но почему-то начавшими вытягиваться лицами.

Сама она торопилась домой.

Мама звонила уже несколько раз и сильно волновалась. Она же совершенно не видела за собой вины: сначала их задержали на вводной лекции, потом Олежка сам подошёл к ней и заговорил, и, хотя она вела себя почти, почти нормально, он всё равно так и не попросил её телефона, не пригласил никуда... По пути домой она ещё заехала на Садовую – прицениться, сколько будет стоить ремонт экрана, а увидев вывеску, не смогла удержаться и зашла в такой любимый ею в



детстве «Макдональдс». Починка экрана оказалась дорогим удовольствием, а гамбургер показался ей отвратительным, и теперь она корила себя за то, что снова перебрала калорий, за то, что разбила экран о край стола, за то, что не умеет вести себя с мужчинами и за то, что снова доставляет вот такой вот нескладной собою неудовольствие любимой маме.

Она переживала всё это и, сама не замечая того, тихо пела на ходу какую-то простую, но очень мелодичную песенку.

# ПОДАРОК

*Langsam und schmachtend.*

*B. Nicht schleppend.*

*(R. Wagner. Tristan und Isolde.*

*Einleitung für erster aufzug.)*

Правда ведь, странно: радоваться тому, чем не владеешь? А ведь ещё страннее – знать, как разделить эту радость с другим... Сама я во всю свою жизнь не догадалась бы не только до того, как это делается, но даже что такое возможно вообще. Поэтому теперь, когда я наполнена спокойствием, словно небо воздухом, а знанием – словно день светом, иначе как с улыбкой благодарности и не вспоминаю ту невероятную встречу, принёсшую мне поначалу столько страданий, ставшую на долгое время безысходной темницей для моей души, а по сути своей бывшую самым драгоценным из всех возможных подарков, какие только способен подарить человек человеку.

Славка, маленькое зеленоглазое счастье, спит среди весёлой кутерьмы щенят и медвежат, игравших в чехарду по мягким стенкам кровати, да вдруг, чтоб не будить, позастывших. Тускло горит ночничок, наполняя комнату сонным, улыбчивым светом – пятерня жёлтых лучей взмахнула

по синеве обоев, распрощавшись до утра. Сама я затаилась в уголке: как мышка сижу на мягком уютном пуфике, держу на коленях деловито шуршащий компьютер, шепчусь с подружками клавиш и время от времени замолкаю, чтобы услышать тихое дыхание... Нет, нет, не дыхание – любовь. Ведь это не воздух – любовь выдыхают в наш мир маленькие детские носики! Когда я смотрю на него, когда слышу его, когда просто ощущаю его присутствие в этом мире – красный воздушный шарик начинает быстро-быстро наполняться в моей груди. Он растягивает, раздвигает её, и кажется, что вот-вот грудная клетка не выдержит, что я вот-вот разорвусь от невыносимого страдания счастья... Но спасительная волна проskalъзывает острой дрожью по телу, подкидывает ноги и руки, освобождает грудь, и, подкатываясь к глазам и вспыхивая на миг пронзительной болью, тонкой и тёплой струйкой сбегает вдоль носа, нежно целует улыбку в уголок...

Как, вы не знали? Я расскажу вам: любовь – солёная на вкус.

Это было на втором курсе, перед сессией. Последние отголоски детства. Нежная трава, гибкие ветви. День – солнечный пульс ожидания, ночь – звенящий полусвет одиночества. Странное и непостижимое состояние. Чувствовала себя взрослой и холодной, способной уйти ото всех далеко-далеко и навек остаться одинокой и безразличной, но в то же время отчётливо видела в себе маленького обиженного ре-

бёнка, с нетерпеливой чесоткою ждущего, чтобы кто-то поднял на тёплые руки, легонько потряс и тут же, навсегда прижав к своей груди, простил за все эти глупые и невозможные мысли. Да, я кого-то ждала, я кого-то искала, но я же и отталкивала любого, кто пытался приблизиться ко мне: сверкающей льдинкой смеялась над ними и над собой под пристальным взглядом дня, а при ночном, тусклом взгляде, расплавлялась в искренних сладких рыданиях. Я была влюблена во всех сразу, а потому – в одну лишь себя. И пока я могла удерживать себя в руках, моя любовь оставалась понятной, маленькой и колючей, но стоило лишь уронить ненадолго контроль – она тут же взрывалась, переполняла собою комнату, выбегала на улицы и танцевала по ним, своим смехом и плачем заливая до крыш весь этот странный, взирающий на нас с печальной улыбкой, привычный к весенним половодьям город.

Незадолго перед этим я рассталась с молодым человеком. Это сейчас я понимаю, что была глупой и злой: больше года «дружила» с ним и всё никак не могла признаться себе, что он – не любовь, а лишь занавеска от одиночества. Он же любил меня честно, красиво ухаживал и терпеливо ждал того момента, когда я наконец «буду готова». Зная теперь насколько просто и естественно само по себе совокупление между мужчиной и женщиной, зная, как дика и яростна однажды отпущенная страсть, я, если честно, не совсем представляю, как он мог сдерживаться всё это время, чтобы не

взять меня силой, ну, или не придушить попросту... Видимо, я всё же что-то такое говорила, какие-то такие поступки совершала, что не обижала и не распаляла его, а, наоборот, укрепляла его веру и продлевала надежду. Как-то так смешивались во мне самолюбие и нежность, что... Да, наверное, это так и было. Во мне всегда уживались словно два человека: одна чувственная и нежная, с интересом прислушивающаяся к голосам воробышков на тротуаре, чтобы разобрать – радуются они сегодня, или печальны, другая – строгая и рассудительная, всё взвешивающая, раскладывающая характеры встречаемых людей по специальным клеткам таблицы. Сохраняя свою девственность, я была убеждена, что поступаю исключительно верно и что, сколько бы со всех сторон: изо всех улыбок и динамиков, со всех экранов на меня не давили, что «можно» и что «не модно», я никогда не отступлю и буду стоять на своём честном и добром убеждении. А между тем я и представить себе не могла, до какой глубины эгоизма и самолюбия пала в то время: ежесекундно купаясь в радостном ожидании любви, ощущая любовь не каким-то отвлечённым понятием, а непосредственным веществом мироздания (таким же, как воздух или солнечный свет), чувствуя, что любовь и секс – это как аромат еды и сама еда, хоть и связанные между собой, но абсолютно разные по своей природе явления, я почему-то относилась к поиску любимого как к выбору пельменей в супермаркете: пританцовывала от голода перед холодильником, проглатывала слюнки со вку-

сом сочного бульона, но неторопливо и придиричиво отбирала из множества разноцветных упаковок оптимальную по цене, форме, известности бренда, проценту содержания мяса... Только после института, поработав какое-то время со своими детишками, я с удивлением начала понимать то, чему он меня научил: что любить – значит отдавать и что ничего общего с желанием получить что-то для себя любовь не имеет и иметь не может.

Тело можно насытить, но духовный голод не утолим. Звучит немного торжественно... Но можно ли объяснить это проще?.. Ну, вот можно ли до отвала наглядеться света? Можно ли засушить звуков в дорогу? Чувствуете разницу, да? А между тем все мы привыкли относиться к любви как к чему-то вещественному, что можно «найти», «обрести», чем, в конце концов, «позаниматься» можно немножко; мы упоённо мечтаем найти самого лучшего, самого красивого/подходящего/доброе, и вот ему-то и подарить себя, ну то есть как бы обменять своё тело на его (ну да, да! отхватить, вцепиться и других не подпускать, чтоб не стащили :-)) Да что говорить о нас, о «простых» женщинах, если даже самые умные, самые талантливые люди, писатели, режиссёры – все они, как один, подновляют своими новыми красками эту дряхлую, осыпающуюся иллюзию. Нет, я, конечно, не настолько образованна, но вот что-то не припоминаю сейчас ни одной истории, где бы Золушка после долгих лет поисков, злоклучений и страданий в награду получала бы

не долгожданного белоконого принца, а первого встречного – небритого забулдыгу с тяжёлыми кулаками – и при этом оставалась счастливой на всю жизнь, отдавая ему всю себя без остатка, получая взамен лишь тычки и упрёки... И то правда: кто такую сказку покупать-то захочет?

Но ведь именно такая она – любовь! Именно когда «первого встречного», именно когда «любого»! Потому что, если не так, значит, расчерчена где-то табличка, значит, выбивает чеки душа... И ведь самое главное – это истина, то, о чём я рассказываю! Ведь все-все-все это чувствуют! Не чувствовали, ну было бы столько жизненных драм? Да я лично знаю не одну и не двух, а множество прекрасных добрейших девчонок, которые, не имея в себе вот такой, как у меня, «прагматической» половинки, честно и доверчиво отдали свою любовь первому же встречному, первому же пообещавшему, пусть он даже и врал, пусть она даже и не нужна была ему вовсе. И вот, вы знаете, какую я странность подметила: те, которые привыкли объедаться сладеньким, которые пробовали и перебирали, а закончив составлять табличку собственных предпочтений, ткнули милым пальчиком в меню, «заказав» себе самого вкусного принца – те всерьёз считают, что любят, те ощущают себя совершенно счастливыми, хотя о том, что такое любовь, даже и приблизительного представления не имеют; те же, которые одарены способностью любить, которые умеют терпеть и дарить себя без остатка – у тех почему-то глаза все изъедены солью, те счи-

тают, что несчастны и искренне страдают, ожидая, когда ж наконец их полюбит этот случайно им подвернувшийся человек. Зачем же нас так перепутали? За что обманули? Почему в детстве нас не учили, что сладость – состояние сытого тела, что солёный и горький – вот вкус настоящей любви!

Я потому-то, наверное, и решила привести в порядок и запостить этот, давно уже исшумевшийся в голове возмущённый поток, что ещё никто и никогда не раскрывал добрым и наивным девчонкам всю необъятность этого малюсенького секрета: как же нам не «умирать от смерти», как оставаться счастливыми, любя, но не рассчитывая на взаимность, отдавая себя, но даже не ожидая подарка взамен. И знаете, думаю, что заслужила право быть учительницей! Так долго, так мучительно я понимала это всё про себя... Из тех ли я, что способны любить? Из тех ли, что просто любят пельмешки?

Представьте умирающего от голода, который в любой момент может подойти и наестся, но который терпеливо и неподвижно наблюдает: как на глазах пустеет холодильник, как сытные упаковки разъезжаются в уютных корзинках, как цепкая маленькая рука с лоснящимися алыми коготками приближается к последней пачке, неторопливым сомневающимся движением оглаживает её, медленно обхватывает её за горлышко, крепко сжимает и вдруг резко дёргает вверх...

Расставшись со своим парнем (а точнее, не сумев удер-



жать его на выгодных мне условиях), я принялась танцевать и веселиться. Ведь именно так, по рекомендациям модных блоггерш, должны поступать уверенные в себе женщины. Танцевала и веселилась я, стоит отдать мне должное, столь же прилежно, как и училась на факультете специальной педагогики, вот только, в отличие от профессиональных знаний, уверенность во мне как-то не сильно прибывала, поэтому я частенько обнаруживала себя в каком-нибудь мрачном туалете бесшумно ревевшей среди клубящейся толпы сомнений, гулко стучащей в стену, что я одна во всём виновата, что я всё решила неправильно, что ничего ещё не поздно изменить... Поделиться мне было абсолютно не с кем. Родители жили за сотни километров; родственники, которые как бы «осуществляли контроль», вполне себе удовлетворялись ежеквартальными короткими встречами, сокурсницы же мною самой были отогнаны на такое расстояние, на каком тихий спокойный разговор становился невозможным.

Нет, с девчонками я, конечно, пыталась сближаться. Их ушки наострялись с горячим интересом, лишь только я касалась в разговоре до своих чувств, их внимательные глазки вспыхивали нетерпеливым блеском, лишь только им попадались незатёртые следочки слёз на моём лице. И хотя я и тогда уже прекрасно знала, что между женщинами никакой дружбы быть не может – настолько всё в муках нам достаётся, столько времени мы просиживаем перед зеркалами, намалёвывая на лицах рекламные послания для наших единствен-

ных и неповторимых (разумно полагая, что раз они для нас – цветастые пачки, то и мы для них – никак не иначе; а какая ж дружба может быть между упаковками с ограниченным сроком годности, стоящими на одной полке?), но они так тепло утешали меня, так убедительно доказывали, что «не стоит держать в себе», что «нужно делиться, чтоб было легче»... В общем, в тот день, когда я, ну совсем уж не выдержав, допустила невозможную глупость, то есть откровенно поговорила с одной, самой близкой из них, в тот же самый день обо всех моих переживаниях стало известно всему потоку...

Ну что... Смогу ли я описать, что мне пришлось тогда вынести? Вместо помощи и поддержки – тяжеленный довесок на плечи. Я и до этого подозревала, а тут доподлинно узнала, что быть девственницей в девятнадцать лет не то что стыдно – просто преступно! Вокруг меня прямо-таки осязаемо образовалось скользко-сладкое облачко порицания. Сколько улыбающихся губок многозначительно искривлялось при моём появлении!.. Сколько милых и добрых девчонок «подружески» советовали мне «не затягивать с этим» (а были даже такие, которые и вслух намекали на своих парней, готовых, если надо...) В общем, если бы не та, прагматическая моя половинка, у которой достало сил, заглушив воюющие и в панике мечущиеся мысли наивной дурёхи, приняться высмеивать себя и всех вообще «задубевших целок» в тон со своими «подружками» (так, что они, как кошечки, через пару дней потеряли к этой дохлой новости всякий интерес),

даже и не знаю, чем бы всё это закончилось. Понять, отчего так происходит, тогда я, естественно, не могла. Жила ведь на подсознании, на предчувствиях. Помню только, как сильно поражала меня очевидная несправедливость: я и все остальные, все мы знали не скрывающихся особо сокурсниц, которые регулярно подрабатывали «ночным массажем», и даже таких, которые умудрились каждые полгода продавать пожилым дурачкам, найденным в интернете, восстановленную за небольшие деньги девственность – и всё это было как бы обоснованно, как бы допустимо, обо всём этом вроде бы даже не стоило говорить, о моём же ужасном пороке говорить было можно и нужно... Так вот знаете, что поддержало меня и убедило в собственной правоте сильнее всего? Что именно эти девушки, которые любили хорошо зарабатывать, именно они заметнее и громче всех насмехались тогда надо мной! Вот только причину понять я до сих пор не могу... Кстати, вы не знаете, отчего так устроено: всегда выделяются из общей массы самые громкие и активные, то есть те, в сам характер которых заложено желание отличаться от других, но чем заметнее они выделяются, тем большее число последователей обретают! Так для чего в человеке самолюбие? Чтобы он стал непохожим на других, или чтобы все стали похожими на него?

К родителям я как-то и не думала обращаться тогда за советом. Не скажу, что была особо одарённым ребёнком, но всё ж к своему возрасту смогла осознать, что у них есть го-

раздо более важные проблемы, чем какие-то любовные переживания их пусть и дорогой, пусть и драгоценной, но очень уж сильно самостоятельной и не умеющей ценить их заботу дочери. Да что там... Даже сейчас всё остаётся по-прежнему. Мама, если позвонить ей вечером (она всё ещё в строгом костюме, и брови никак не расхмуриваются после учреждения): «Ну я же говорила! Вот видишь, что бывает, когда ты меня не слушаешься!.. Ну ладно, я свяжусь в Питере с X, и он организует тебе курс терапии (консультацию, обследование, спецобслуживание, скидку) у Y», папа (он только что вернулся из очередного бизнес-тура и, развалившись в кресле, показывает мне медвежонка, хотя я уже лет пятнадцать как перестала коллекционировать медвежат): «Да ничо, Киса! Давай я те денюжку подкину! Ну, там, развеешься, погуляешь... ОК?» Даже...

(Ребёнок заплакал во сне... Он всегда чувствует то же, что я! Много раз замечала!)

Не знаю, сумела ли хоть немного передать чувства, что разрывали меня тогда. С одной стороны – одиночество, неутолимое, безысходное, тихо посмеивающееся из-за спины, с другой – любовь, окружающая лёгким дыханием, припевающая из синевы пятернёй ярких лучей. Я так и не смогла нигде этого вычитать, но думаю, что и вправду ощущала любовь каким-то физиологическим способом. Теперь мне даже объяснить это сложно... Я хоть и полна ею, но уже... ну, не чувствую любви вне себя, что ли... Тогда же я чув-

ствовала её присутствие в пространстве, вот точно так, как чувствуют свет или звук. И знаете, что я считаю самой неоправимой своей ошибкой? Вместо того чтобы наслаждаться этим небесным ощущением, подставляя лицо целующим лучам, наслаждаясь шепчущими звуками, вместо того чтобы развивать в себе эту чувствительность и, самое главное, вместо того чтобы делиться своим ощущением с другими, я стремилась поскорей заглушить любовь, как если бы она была чувством, принадлежащим исключительно моему организму. Спешила наглядеться до отвала, послушаться про запас... Под дождём пролюбить поскорей, чтобы потом уж не мокнуть... Мучилась, конечно же мучилась, чего ж тут скрывать, от полового влечения. Но хотя я довольно-таки сильно и много изнемогала в отдельные звонкие ночи, стоило мне лишь начать присматриваться к симпатичным парням, стоило мне разглядеть, насколько они одинаковы в своём разнообразии, мне становилось тошно от мысли о том, что любой из них, абсолютно любой симпатичный мужчина, обладающий должным опытом и сумевший проявить настойчивость, сможет утолить мой внутренний голод – как будто любовь моя была разновидностью бутерброда, которым я, как и всякая другая самка могла до времени насытиться, пожевав заодно с любым самцом. Ну никак не могла я поверить (пить свет, насыщаться музыкой), что нет на свете именно одного, именно единственного, того самого, только найдя которого я смогу раскрыть свою зажатую грудь и выпустить на волю

всех в ней трепещущих бабочек! И хотя над этой моей верой тоже тогда насмехались, и хотя я и сама не была уж такой прямо глупышкой (всё ж книжки я, хоть и мало, но читала, и фильмы кой-какие смотрела :-)) я всё крепилась, всё верила... Мечтала (иногда даже во сне) об одном только маленьком чуде, об одном лишь пустячном одолжении: чтобы в один избранный и безумный день солнечный луч ворвался в мой мир и осветил ярким светом взглянувшего на меня человека. Я обещалась за одно только за это поверить в бога, поверить безоговорочно и безоглядно, лишь бы он на своём каком-то божественном языке, пусть бы словом, пусть бы светом, но ответил на тяжеленный, серой глыбой меня придавивший вопрос: как может быть счастье в мире, где каждому дозволено своё счастье? Может ли счастье быть там, где всё может быть счастьем?

Если переводить с женского на человеческий, то для себя я решила, что никого больше обижать не стану, и, пока твёрдо, пока стопроцентно не пойму, что он – тот самый, ни с кем не познакомлюсь. Выстроила под это какую-то сложную, какую-то корявую и неустойчивую конструкцию, что жду человека, который скажет «те самые» слова и совершит «те самые» поступки, по которым я вмиг его и узнаю. Вот только какие это были поступки, какие слова? Была бы я героиней нравоучительной сказки – их на прощанье мне подсказала бы добрая фея (из тех, что растворяются в полумраке необъятной замковой залы и чей голос потом ещё долго

доносится эхом из вековой пустоты коридоров). Но мой автор не был ко мне столь благосклонен, поэтому на меня по улицам надвигался непрерывный поток мужчин, которые все что-то делали, которые все что-то говорили... И я, наверное, окончательно сошла бы с ума, если бы как-то естественно, как-то незаметно и ненавязчиво над суетящейся и гудящей толпой не вознёсся бы тот, который один сумел понять меня и утешить в тот невозможный период жизни. Он посмотрел мне в глаза, и я сразу и навсегда (безо всяких слов, безо всяких поступков) была поражена его скромным обаянием, его неброским европейским шармом. В нём не было ни капли натужной «москвоты» – зеркальности нарядных витрин, скрывающих от пристального взгляда захламлённые бездушные задворки. За его опрятным фасадом, сколько бы я ни углублялась во дворы его души, пребывала одна и та же спокойная, приветливая простота. Я бросила танцевать... Я поверила ему... И поначалу смущённо и редко, потом всё смелее, всё чаще, а потом уже и в любую свободную от занятий и от волонтерства минуту, днём, а больше, конечно же, ночью, я вырывалась из душного ящика комнаты, спешила в его светлые объятия, и с ним, на просторе, забыв обо всех окружавших нас людях, оставалась наедине.

Сладко переживать сейчас эти разрозненные и краткие мгновения, которые по прошествии лет слились в воспоминание одной большой и волшебной прогулки! Вот я стою, прикасаясь пальцами к шершавому холоду гранитной огра-

ды и ощущаю спиной взгляд его тёмных зеркал, отразивших печаль светлой северной ночи. Перед нами, от самых моих тувелек и до нависшего над чёрной бездной далёкого края земли, раскинулся волшебный ковёр утреннего тумана, в ворсе которого запутался и вот-вот утонет, оставив нас в совершенном одиночестве, отчаявшийся биться кораблик... Вот мы сами сражаемся с течением ночного одиночества: бредём от «Авроры» к Троицкому, я – обхватив себя руками и опустив в задумчивости голову, он – сопровождая меня огромным ясным пространством, напоминая о близкой заре нетерпеливыми вскриками чайки... Вот подкармливаем хрустящими подачками шагов дорожки Марсового поля, заскукавшие среди дремлющих сиреней... Вот идём рука об руку по чёрной мостовой вдоль чёрной реки, и вокруг золотой оси, увенчанной золотым ангелом, своею поступью вращаем пластинку. Дворцовый мост впереди – рычажок проигрывателя, звук уходящей поступи – прощальный шорох иглы... Вот мы торопливо пересекаем (не замечая, как из сочувствия стараются не замечать неизлечимой болезни близкого) взлохмаченный вывесками, осунувшийся бессонными толпами, испещрённый чирьями вымигивающихся суперкаров и молчаливых попрошаек Невский. Вот я уже иду по своему переулку, а город на прощание и чтобы приободрить меня, шаловливо жонглирует круглыми ударчиками каблуков, которые, отскакивая от жёлтых стен, гремя по водосточным трубам, разбегаются над железными крышами, чтобы стать



облачками на небе. Вот засыпаю, и сквозь сон мне слышится звук доигравшей пластинки. И я выхожу посмотреть, и медленно поднимаюсь и неторопливо лечу над улицами, и, вознесясь над городом, обхватываю ладонью древко и опираюсь носочком о золотой шар. Подо мной быстро кружит наклейка водной глади с белыми курсивами теплоходов... За ней чуть медленнее протекает ободок набережной. Своими серыми глыбами он раз за разом тихо ударяется в кончик моста, и тот, наконец закончив проигрывать все дорожки этого мира, отрывается от чёрной поверхности. Без звукозаписывающего движения продолжается в полнейшей тишине, но я так хорошо помню записи, что в каком-то невероятном, только во сне возможном единении с миром, глядя на его непроницаемое лицо, слышу все его потаённые мысли. Вот ближняя: на пёстром покрывале домов, безмолвно и спокойно скользящем за рекой, запечатлено ровное дыхание, соединившее все вздохи когда-либо гревшихся под ним жизнью. Дальше, на ползущем за городскими окраинами сонном просторе лесов, записана песня новому дню, радостно взлетающая с первым прикосновением солнца. За ней почти недвижимая безобидно-лиловая полосочка, хранящая все самые страшные звуки мира: вой ветра, рёв бурь, раскаты грома – огромное облако газа, объявившее голубую планету. И уже за краем, в самом дальнем и безысходном углу комнаты, – абсолютно неподвижная и черная, орущая всей пустотой вселенского одиночества точка... из которой вдруг и доносится и, отра-

жаясь от моего тела, заливают весь город золотым сиянием, первый трепещущий луч...

Ну конечно, ко мне подходили. Постоянно. А то что же: испуганный взгляд, зовущие движения, коса до попы (я во многом, вообще-то, была старомодна)... Подходили так часто, что я всерьёз уже начинала задумываться о чём-то навроде чёрного балахона, скрывающего от жадных взглядов. Боялась себя. Отшивала всех, но с нарастающим спокойствием понимала, что рано или поздно всё же не удержусь и вместо того, чтобы прогнать, просто кивну, и продолжу соглашаться потом, что бы со мною ни делали... И знаете что? Эта роль китайского болванчика представлялась мне настолько простой... Насколько желанной была эта на всё согласная безответственность... Что при мыслях о ней у меня в животе настоящее солнце загоралось: ноги мгновенно становились ватными, руки – непослушными, сладкий туман заливал всё вокруг и я не могла понимать, живу ли уже по-настоящему, или только предчувствую момент скорого пробуждения.

Почему нужно было отказывать? Кто запрещал соглашаться?

Как только я начинала задумываться – растерянность завладевала мной, и я, как в последнее прибежище, бежала от неё в город, чтобы хотя бы на двоих разделить вселенную моих переживаний.

Город молчал, отражая одинокую фигуру, бредущую

сквозь зеркала чёрных окон. Он понимал меня без слов.

Всё было решено. Сил больше не было. Я не могла выносить одиночество и, хотя ещё делала вид, что жду «его», жду «тех самых» слов и поступков, на самом деле в глубине уже смирилась с собой будущей (сама улыбаюсь, но напишу уж, как думала) – потёртой и потасканной, но всё ещё очень красивой и умеющей преподнести себя женщиной, которая в чём-то другом, в профессии, быть может, и преуспела, став самостоятельной и даже известной, но в отношениях с мужчинами навсегда осталась бездумной и вечнокивающей фарфоровой статуэткой, женщиной, которая, печально улыбаясь, взирает на свежие упаковочки, с надеждой на симпатичных мордашках вступающие на длинные полки торговой обыденности... Да, я сдалась. И, как миллионы добрых и честных девчонок, не вынесших придавившей их мучительной ноши, готова была согласиться с насмешливой уверенностью бойких рыночных голосов, вопящих испокон веков, что любовь – никакая не форма существования материи, а простая близость человеческих тел. Я готова была отдать свою измученную, свою несуществующую душу... кому-нибудь...

Но я бы теперь не писала, если бы не произошло со мной чудо. Ведь он ответил! От-ве-тил!

Правда, к сожалению, именно на заданный мною вопрос...

Как-то, уже в конце лета, знакомая пригласила меня на литературный вечер в одно очень старое и очень известное подвальное кафе (не знаю уж, откуда у неё взялись эти билеты – она и литература соотносились приблизительно как волк и капуста). Мы немного опоздали и в маленький зал вошли уже во время выступления. Помещение было погружено во мрак, только игрушечная сцена сияла, залитая яркими лучами. Под низкими кирпичными сводами дышала жаркая тайна, вдоль извилистой тропки прохода высились заросли столов, ног и стульев, шелестел тихий шёпот, покачивались гибкие тени тел. По узкой жёрдочке прохода я пролетела, едва докасаясь носочками, опираясь на воздух лёгкими крыльями рук... Очарованная непривычной атмосферой, опустилась на вежливо скрипнувший стул, затаила дыхание и приготовилась слушать... Но в тот вечер был какой-то дикоданс... Строки о «душах», «негах» и «лучах» настолько явно изнывали от осознания собственной пустоты и никчёмности, что даже я их поняла и очень вскоре перестала искать в них какого бы то ни было смысла. Тогда я попыталась просто закрыть глаза и погрузиться в синие волны продолговатого женского голоса. Но тут уже вмешалась моя верная подруга. Совесть не позволяла ей безучастно смотреть, как я утопаю:—) Лишь только я окуналась, она тут же бросалась вытаскивать меня из пучины: то прикосновением холодного пальчика, то шумным зевком, то предсмертным хрипом стула, и каждый раз радовалась моему счастливому спасе-

нию, сверкая из темноты белками округлённых скукою глаз. В общем, как я ни пыталась сосредоточиться, как ни силилась настроиться на приличествующий лад, но, глядя на неё, через какое-то время тоже начала бесшумно пофыркивать. В помещении находились в основном пожилые, а то и вообще старые люди, и было и впрямь очень весело наблюдать, как эти серьёзные, убелённые сединами старцы покорно закатывают глаза и воодушевлённо воздымают бледные лица вслед ритмичным колебаниям абсолютно ничего не значащих слов. Один старичок с клинообразной бородкой и добрым, каким-то даже до церковности тонким лицом, закрыв глаза, дирижировал в воздухе мягкими пальцами – тень его ладони при этом размеренно стучала по голове тень красивой и очень серьёзной женщины, которая послушным болванчиком кивала вслед за каждым ударом.

На перерыв мы выбежали первыми, цокоча каблучками, с усилием сдерживая требующий высвобождения смех. Разумеется, решили смываться, не дожидаясь второй части. Знакомая отлучилась ненадолго, а я присела на кресло в фойе. От нечего делать складывала стопочкой разбросанные по столу буклеты.

– Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко взор надменный и отдал поклон...

Звук голоса раздвинул подвальные своды, и я очнулась под ласковым небом в центре любимого города. Прямой нос, нежные губы, маленький подбородок. Он и вправду не ки-

чился своим внешним видом: был слегка небрит, нерасчёсан – пряди волос свobodолюбиво выбивались из причёски. Точно как у того, что стоял по центру площади в сотне метров от моего кресла.

Подошёл и сел, не спросившись. Так, словно знал меня уже давно.

– Знаешь, откуда? – Он спросил серьёзно, но я почему-то почувствовала, что хитрит.

– Из Урюпинска? – Мне показалось обидным, что я, по его мнению, обязана знать, откуда он родом.

– Понятно... – Он улыбнулся, и морщинки у глаз помирились со мною сразу за всё. Едва заметная седина на висках, добрый пронзительный взгляд, ...кольцо на безымянном пальце. – А ты как думаешь, насколько это вероятно, что двое вот прямо так, сразу, только взглянув друг на друга, поймут, что любят?

– А почему бы вам не пойти и вот у них об этом не поспрашивать? – снова огрызнулась я, но тут же и оцепенела. Ведь он был уже рядом! Спокойный и весёлый – смотрел на меня. В его глазах отражались блестящие квадратики окон. Сильная рука покоилась рядом с моей – три луча расходились по тыльной стороне ладони из одной точки тремя прямыми проспектами, голубая развилка вен вытекала из-под серого пиджачного рукава спокойной полноводной рекой, разделяясь на протоки, прежде чем слиться с податливой рябью залива. От его движений исходила уверенность (убеждённо

кивали липы, мрачно молчали дубы), в его голосе звучала улыбка (по коридору Итальянской улицы неслось от моста гулкое эхо электрогитары).

Не луч и не вспышка – дрожь, тонкая бессильная дрожь разливалась где-то в области солнечного сплетения. Я поняла, что не смогу даже подняться, не то, что броситься ему вслед, если он сейчас вдруг обидится, встанет и уйдёт.

– Вот-вот! Представляешь! – продолжал со смехом я, – именно об этом тебе и говорю! Ты хамишь – а мне весело! Сверкаешь глазами – а мне целовать тебя хочется! Знаешь, почему? Потому что я уже всё про тебя знаю! А кстати! Хочешь послушать, что я записал после нашей первой встречи? – И он, не дожидаясь ответа, поднял глаза кверху и принялся считать будто бы с потолка: – Я стоял и смотрел, как пресыщенный город доедает на ужин тела. Суетились. Визжали. Бренчали аккорды слёз и шуток. Но вдруг ты прошла. Всё застыло. Рука, подзывая маршрутку, натянулась, как будто струна... В совершенном безмолвии тихо и жутко кто-то в ухо шепнул мне: «Она...» Ты как сон растворялась во мраке салона, но поймала испуганный взгляд, и – сорвался проспект, зазвенев в небосклоне словно взрыв, покатилась заря. Закричали гудки, завизжали колеса, заметались в испуге тела...

Он продолжал читать и дальше, но я, как ни старалась потом, так и не сумела припомнить окончание. Что-то совершенно неожиданное происходило со мной. После первых же

слов, произнесённых приглушённым ритмичным голосом, я в один миг перенеслась на несколько дней назад и как наяву ощутила то, что переживала тогда: громкий гул тысяч голосов и моторов, суетливо ползущий по Невскому, а вдали, над Адмиралтейством, безмолвный золотой пожар заката, на который невозможно взглянуть, настолько он ярок; в салоне – утомлённые и никого не замечающие глаза попутчиков, а из-за закрывающейся двери – необъяснимо знакомый, одновременно испуганный и восторженный взгляд...

Я слушала и честно пыталась улыбаться (и, может быть, даже улыбалась), а внутри... внутри будто что-то надорвалось. Не было ни силинки. Хотелось не смеяться и целовать, а выть, прямо по-звериному выть хотелось и ещё ползти в какую-то тёмную щель, чтобы там долго и одиноко зализывать раны... Что было мне до того, что он читал прекрасные стихи, описывающие встречу со мной! Какое дело мне было до «тех самых» слов! Кружилась голова... Всё кружилось вообще... Не знаю, поймёте ли, не пережив: в этом летящем мире я нашла наконец то единственное, что одно могло быть опорой, но только лишь найдя, только вцепившись в него взглядом, я тут же испытала дикий, безумный страх, что не смогу удержаться, что вот-вот сорвусь с несущегося со вселенской скоростью диска и вернусь в неподвижную холодную тьму. И он продолжал болтать со мной, шутить и смеяться, а я сквозь его весёлое лицо пыталась увидеть и видела все его потаённые мысли, пыталась почувствовать и чувствовала все его



страхи. Из радостных грёз я попала в кошмар, происходивший наяву: целое измерение, целая вселенная бестелесной, необъяснимой, невыразимой любви сгустилась передо мною в тяжёлое, шуршащее тканью, осязаемое и обычное человеческое тело...

Знакомая потом мне рассказывала (она, кстати, поступила крайне тактично: миг оценив серьёзность момента, не стала нам мешать, а тихонько прошла в зал на второе действие), что я выглядела как отличница на экзамене.

Не знаю... Может быть, это и так называется...

– Ты даже представить не можешь, – улыбаясь, продолжал он рассказывать мне о жене, – как тяжело жить с человеком, когда его жесты, его мимика тебе неприятны, когда его поступки не близки... Каждый день – переговоры и компромиссы, месяц – километр по болоту, годовщина – очередная глыба с плеч. И как же нам просто будет с тобой! А! Ты только представь! Ежедневно быть рядом с тем, каждый жест, каждое движение, каждый поступок которого вызывают лишь наслаждение и благодарность, про кого ты понимаешь, что и твои эмоции, движения и поступки вызывают лишь радость в ответ! Представляешь, как тебе повезло сегодня? Ты вообще знаешь, насколько мала вероятность того, что мужчина и женщина, полностью подходящие характерами, встретятся в удачном для знакомства месте, да и не просто встретятся, а ещё и будут готовы к этой встрече, то есть будут без спутников, в настроении, в трезвом уме...

Он жестикулировал и шутил, и сам же первый смеялся... А я продолжала тонуть в пьяном, вязком чувстве, в каком-то туманном сне, где из-за вуали его лица проступал настоящий, печальный и тихий образ. И я что-то отвечала. Может быть, даже что-то умное – чего только в жизни не бывает. О чём мы ещё говорили – обманывать не буду, не помню, всё давно уже растворилось в тумане памяти. Навсегда мне запомнилось только вот это, поразительное, страшное, никогда прежде не испытанное ощущение – предзнания. Он говорил обо мне, о красоте и о молодости, рассказывал про поэзию и про рифмованные и нерифмованные строчки, а я держалась за его руку, и он вёл меня по пустынной брусчатке набережных, по хрустящим дорожкам садов, по тенистым аллеям парков, и нам вдвоём было так же легко и просторно, как если бы каждый из нас гулял сам по себе. Кричали звонкие чайки, алела полоска заката... И я старательно контролировала походку, свои позы, жесты, выражение лица, и даже (вот они, годы перед зеркалом), подметив, повторяла те из них, что заставляли его глаза радостно вспыхивать, но он почему-то цитировал афоризмы про одиночество, про то, как многократно отражаются друг в друге зеркала... И он рассказывал шуточные истории о себе, о своих знакомых, о знаменитостях, а я сидела рядом с ним на диване и гладила его сведённую от напряжения спину – это было где-то в будущем, был день рождения его дочери, но она не захотела его видеть.

Я изнемогала от ужаса этого ощущения и с замиранием сердца смотрела на него и ждала, когда же, ну когда же всё это начнётся? Когда он протянет мне руку и поведёт меня в какую-нибудь квартиру, в какой-нибудь номер.

Он понимал ведь, что я с готовностью кивну.

И он... Вы знаете, он ведь и вправду чувствовал то же, что я. Он не врал мне. Глядя в меня, он понемногу затахал, проявлялся. И в какой-то момент он и совсем стал собою – молчал и долго смотрел на меня спокойными, цвета морской воды глазами. Затем вынул из нагрудного кармана смартфон и, пару раз докоснувшись, повернул экран ко мне, показал несколько снимков. На первом было изображено серьёзное лицо семилетнего мальчика. Тёмные волосы, аккуратный пробор, папины блёстки в глазах, едва уловимое выражение недоверия и испуга. На следующем снимке на колени этому мальчику, сидящему на кухонном стуле, взбиралась маленькая девочка в кружевном белом платице; оба самозабвенно смеялись. На третьем я увидела лицо пожилой, но всё ещё красивой женщины с усталым блеском каких-то несчастных, каких-то слишком контрастных, похожих на ненастоящие глаз. Она напряжённо смотрела на меня, словно просила, чтобы я избавила её от ожидания, чтобы я побыстрее начала...

Я перевела свой взгляд на него...

Он наблюдал за мной неотрывно...

Его рука наощупь прятала чёрный аппаратик в карман...

– Ты понимаешь? – сказал он, вставая.

Я кивнула и он на мгновение замер. На его лице появилось... до сих пор передо мной этот взгляд. Это был сон... Мы оба знали его окончание...

Он протянул мне руку... Я приняла долгожданный подарок...

Он, вздрогнув, очнулся. Улыбнулся мне радостно, и, взмахнув рукой, в несколько больших шагов пересёк помещение и скрылся за дверью.

Какое-то время я смотрела из-под толщи всё того же разнеженного и туманного состояния. Тихо журчали прохладные волны... А потом вдруг ярко, жёлтой вспышкой, лучом меня озарило: «А он ведь ушёл!»

И вот тут-то мне бы рвануться вослед, мне бы побежать... Но только ноги отказали совершенно, и руки стали мелко-мелко дрожать, и в голове как-то тонко и противно, по-комариному, запищало...

Мне часто, даже теперь вот, кажется, что я и не уходила оттуда. Освещаая пятнистые портреты на темно-красных стенах, горит уютный жёлтый свет, из расположенных под самым потолком окон ниспадает тусклое шуршание шин, а из-за неплотно прикрытой двери выливается продолговатый напев приятного женского голоса. Бармен всё никак не может протереть свои бокалы. На столе передо мной высится аккуратная стопка брошюр... Я жду, что он вернётся... Гля-

жу на подрагивающую от сквозняка дверь... И она...

С этого момента и началось то, о чём я хотела рассказать молодым девчонкам. Начались месяцы терпеливого ожидания. И, с одной стороны, вспоминая дышащий морем взгляд тихих и добрых, неспособных к предательству глаз, я была счастлива – ведь теперь я твёрдо знала, чего жду, с другой... Я вот иногда думаю, а не лучше ли было мне умереть прямо там? Ведь это... Ой... Хлопнула входная дверь! Какая же глупость – думать о смерти... Надо бежать! Встречать и кормить Олежку.

Завтра, завтра я всё расскажу.

# ДОБРЫЕ ЛЮДИ

*Мы отдохнём...*

I

На берегу небольшого лесного озера, в котором, как ни старайся – не разглядишь утреннего неба, поскольку оно наполовину заросло серыми водорослями, а наполовину отражением густой зелени, высится ряд худых, наклонившихся над водою берёз. Все они словно оперлись плечом о невидимую стену и видом своим выражают полнейшие независимость и безразличие. В сравнении с березняком, стоящим поодаль от берега, стройненьким и ровненьким, высоко поднимающим зелёные кроны в споре за свет восходящего солнца, прибрежные берёзы кажутся какими-то уж особенно мрачными, какими-то намеренно скособооченными, слишком уж пышно обросшими с одной стороны и слишком бедно – с другой. Их извилистые цепкие корни вздулись напряжёнными венами и выступают над твёрдой землёй, далеко расходясь от подножий стволов прочной чёрной решёткой. Наросшая вдоль самой воды неприятная трава, то ли камыш, то ли осока, то ли ещё шелупонь какая, покачиваясь на озёрном ветру постоянно шуршит остриями побегов,

словно на что-то подговаривая нависшие над тиной тихие ветви. Другое ли дело – мягкая и сонная, раздобревшая от листопадов трава березняка!.. Да что трава! Даже свет там, жёлтый и радостный, тонкими лучами дрожит на нежной зелени крон... И пенье проснувшихся птиц наполняет березняк нежным колокольчиковым эхом. И...

Но стоп... Стоп-стоп-стоп... Очень отвлекает гул трассы...

Стоит лишь погрузиться в звенящую жизнь, стоит научиться выуживать из её непрестанного шелеста и разноцветного пения кратенький миг, когда незримая капля гулко ударяется о воду и... «вжух-вжух», «вжух-вжух-вжух...» Вон она, там – в сотне метров от озера. Да и потом... Раз уж остановился... Что это за начало такое... От деревьев, что выросли на самом краю обрыва и корнями своими укрепили берег, зачем-то требовать того же, что от растущих в спокойном лесу... Откуда вообще взялась эта привычка: только проснувшись, уже что-то с чем-то сравнивать, от кого-то чего-то требовать?

Нет... Современному русскому писателю лучше с природы не начинать... Лучше её, по возможности, совсем не касаться... Ведь она у него, бедная, всё сразу что-то выражать начинает, на что-то намекать: качается тревожный камыш, хмурые ходят тучи... Да и стоит ли братья за это дело, за природу то есть, бездарю и пустообрёху, когда пролистнув «Записки охотника» или «Онегина» и любой, даже самый

казистый писателишка, кхекнет тоскливо да почешет за ухом – стоит ли? К тому же, прошу заметить, никакие автострады не мешали нашим классикам слушать природу. И никакой смартфон не начинал истошно верещать у них в кармане, когда они матерились на восход! (Матерились, естественно, сугубо в душе – потому что про Тургенева это даже представить себе невозможно, чтоб он вслух матерился, не то, чтобы русские титулы рифмовал, как наше Всё (которому одному всё, кстати, и дозволено))

Нет, я думаю так: хочешь читать о природе – читай классику! Тем более что за прошедшую пару веков она несколько не изменилась. Ровно так же, как и душа человеческая.

Я о другом... О том, что изменилось. Здесь, пользуясь случаем, прошу заранее простить меня за фамильярство. Честно пытался... Вспоминая строгий бабушкин взгляд, хотел быть воспитанным... Одной бумаги извёл пачку, а электричества-а-а...

Не получилось.

Много раз начиная писать «вы знаете...», «вы понимаете...», вспоминал тебя, мой дорогой современный читатель: как мы с тобою рядом трясёмся в вагоне и вытарашенными спросонья глазами за экраны цепляемся, чтоб не упасть... как сидим по домам в своих мягеньких креслах и одновременно с чтением успеваем ещё и музыку в наушниках слушать, и отвечать на вошедшие мессаджи, и ещё какую-то шуршащую обёрткой ГМОшную дрянь покусывать... Ну вот



никак не получается мне с вами на «ты»... бж-ж-ж... с тобою на «вы»... Уж уволь-с... Это... как бы тут объяснить... Не из-за того, что «очерствение души», и не для того, чтобы «сбросить с парохода»... Здесь, скорее, выражение какого-то вполне свершившегося факта... Такого, что... Ну, вот не представить же нам, чтобы, желая поделиться чувствами с хорошим знакомым, которого мы искренне уважаем и ценим, а поделившись с ним воспринять и его душевные переживания, мы обращались бы к нему на «вы».

Галстуки сброшены, корсеты истлели... Как-то ведь так, правда?

Вот только... Вот только что же нам делать с серьёзным читателем? Как бы нам его-то не оскорбить?.. (А ведь я – и здесь без шуток! – я искренне верю в то, что он ещё существует, что он – никакая не выдумка!) Может быть, для него интересной показалась бы мысль, относящая это, описанное мной ощущение, к прямым следствиям нашего извилистого исторического пути, в результате которого уважительные прямые обращения «господин» и «товарищ» оказались в равной степени дискредитированными, а «сударь», который и прежде того уж покрылся пылью веков – и вовсе...

Но стоп... Стоп-стоп... Не могу!..

Стыдно, но не могу и, видимо, никогда уже не смогу я себя переделать: вот только начал себе представлять серьёзного читателя – такого, довольно-таки уже похмуревшего и покрасневшего лицом от моей болтовни, поверх очков гля-

дящего на этот текст и в напряжённых до дрожи кулаках сжимающего эту книжку, и – расхохотался, ибо воображение моё его тотчас же на унитаз водрузило...

Хотел бы я... Конечно, хотел бы представить серьёзному читателю залог, что был бы подостойнее его возвышенных идей и его нежной, чувствительной души, но... (Тут уже, я надеюсь, и всем стало понятно, что оправдаться перед серьёзным читателем вообще никому не дозволено... (Ну, *Quod licet Jovi* и т.п...))

Так вот. О чём я...

Опять заболтался. Современному автору язык только отвяжи – до Киева доведёт в два счёта. Хотя теперь, наверное, лучше говорить «до Ашхабада»... Вообще, так, без дела болтать – это с девчонками молодыми хорошо, с серьёзным же читателем следу... но молчу, молчу...

А знаешь, раз уж болтовня наша зашла о болтовне – то стоит всё же упомянуть, что кроме неё, родимой, писателю теперь почти ничего и не осталось. Ну вот поставь себя на моё место. Начинаешь ты что-то рассказывать своему другу, хочешь с ним поделиться, но только не как обычно – парой будничных фраз, а чем-то таким, что дрожит у тебя внутри, что до самых глубин волнует и что, ты хочешь, чтоб было услышано, а главное – понято... И ты отправляешься в путь и поначалу успешно ведёшь свой рассказ... Но с каждой пройденной строчкой, с каждым километром, чувствуешь странный холодок, что понемногу схватывает твой заты-

лок. Прислушиваешься, и начинаешь понимать, что это происходит оттого, что твой голос – вот этот – звучащий от автора, слегка ироничный и пространный, он начинает чуть по чуть затихать. Изменяет свой тембр, высоту... И вот, спустя пять-десять страниц глядишь: а говоришь ты уже и совсем не о том, о чём так мечтал рассказать. И даже, создаётся впечатление, что это уже и не ты говоришь вовсе, а кто-то огромный, кто понемногу затенил тебя, заслонил собою. Кто-то такой черноволосый и носастый, в длинном плаще-накидке, кто уже и давным-давно всю Россию вывел на чистую воду...

Ну, естественно, тебе тут же хочется защититься от этого, растворяющего тебя, убивающего тебя образа!

И ты непроизвольно вскрикиваешь, как в угловатом сне: «Я! Я!», только обращаясь уже не к другу, а к каким-то неуловимо скачущим теням. Что-то доказываешь тем, которые от тебя требуют, что-то разъясняешь тем, которые тебя сравнивают...

И в ужасе просыпаешься в самом начале и идёшь по другому пути.

Погружаешься в себя, со стучащим в возбуждении сердцем описываешь своё, так похожее на ипохондрию, даже какое-то чересчур раздражительное состояние, преследующее тебя, ну, или, скажем, твоего взволнованного героя в скитаниях по удушающему зловонным запахом, полному пьяниц, проституток и болтливых бездельников Петербургу...

... ..

Очнувшись и от этого кошмара, бросаешься истерично вперёд, принимаешься за что-то огромное и доброе, за какое-то светлое бу... (Тут мне даже и продолжать не хочется – ещё с прошлого раза ухо болит...)

В общем, в какой-то момент становится очевидным, что литература родная уже и без твоей помощи прямо-таки ломится от скорбящих над миром, а потому идущих, едущих, скачущих в поисках дорог ото зла к добру героев. И лишь только ты это понимаешь – злоба какая-то безысходная охватывает. Потому что кажется, что сколько ни пиши, уже ничто и никогда не поменяется. Природа – будет испещрена кострищами и грудями мусора, во власть – будут попадать одни лишь воры и подонки, а в душах людских на веки вечные воцарились телепузики... И вот тут, если совесть отворачивается ненароком, вот тут-то ты ощущаешь простор! Вот тут-то ты начинаешь!.. Даже дух захватывает, насколько легко рухнет то, что тысячу лет создавалось...

Ну а если не отворачивается?.. Тогда и начать даже не получается... словно, задыхаясь, бежишь... словно в уходящий автобус пытаешься вскочить на ходу (кстати, тоже было...)

Но если ты не сдаёшься, если всё равно продолжаешь, если, выжимая из себя всё до последней капли и напрягаясь из последних сил, догоняешь и протягиваешь руку... То происходит – чудо! Да! Ты чувствуешь тёплую руку в ответ! Тебе кто-то помогает, подтягивает!.. И вот ты уже на площадке!..

Смотришь с благодарностью...

А перед тобой – серьёзный читатель...

И тут ты уже всё понимаешь совсем. Понимаешь, что куда бы ты ни бежал, как бы ни изнемогал в своём беге – именно он тебя везде и встретит. А встретив, нависнет над тобой и будет глядеть спокойно и серьёзно на лежащую перед тобой рукопись. Молчать...

Вот потому-то я знаешь что думаю: а ну его!.. Хватит с нас литературных мечтаний! Ведь люди общаются не для того, чтобы новизною блистать, а чтобы поддерживать друг друга в минуты душевной невзгоды. Тем более что сколько ни писали великие классики – а переживаний человеческих и впрямь меньше не стало; да и прошло уже давно то краткое время, когда над водой клубился лёгкий романтический туман, когда влажные капли блестели отовсюду солнечными зеркалами и птичьи голоса раздавались робко и отчётливо, словно спрашивали друг у друга, не пора ль начинать. Солнце теперь уже разогрелось и досушивает остатки росы. Стоит полное безветрие, и в нём деловито хозяйничают трели птиц, стрекот кузнечиков, всплески проголодавшихся рыб. Да, уже скоро... Приближается... Но пока есть ещё время рассмотреть эту тихую радость. Улыбнуться на жизнь, никогда и не знавшую разницы между злом и добром. Прикоснуться к воде, спокойной, прохладной. Пройтись вдоль берега, звуча по земле, ощущая ступнями жёсткую силу корней, прикасаясь рукой к шершавым стволам. Удивиться, что даже

при полном отсутствии ветра, ото всех сторон, как по ягодке в чашку, собирается таинственный нестихающий шёпот, бесконечным и безответным вопросом исходящий от недвижных с виду, но каждое о своём молчащих деревьев, и вдруг, рванувшись вверх, замерев от восторга и ужаса в самой высшей, смертельной точке полёта, с которой за меньший чем «всё» миг успев ощутить: и прощально обмякшие ноги, и пуговку озера внизу, и леса, и дома, и трубы до самого горизонта, и надо всем – бесконечный нестихающий шёпот, понестись обратно, задыхаясь от ветра и от радости в поющей груди, чувствуя, как родная земля приближается, заполняет собою всю твою жизнь, нарастает чёрным полотном асфальта с пятнами машин... как одна серебристая... и ты в неё... со всего лёту...

\* \* \*

Ощувив какой-то толчок, Зёма глянул в зеркало заднего вида и тут же руками упёрся в руль, а лицом изобразил безнадежность. Красная «Газель» приближалась с опасной быстротой. Водитель словно не замечал затора.

Удар!.. Скрежет!..

Но нет... В самый последний момент грузовичок присел на переднюю ось, завизжал шинами, вильнул сначала в сторону стоящих машин, затем в сторону отбойника и, пройдя в каких-то сантиметрах от застывшего в ожидании бампера,

замер на обочине, часто покачиваясь.

Если бы Зёма не успел сдать немного влево – стоять бы им теперь и дожидаться гайцов. Он выдохнул и принялся было с облегчением честить президентов, но, не добравшись даже до третьего, бросил, указывая возмущённым жестом:

– Ну ты смотри, чё творит! А!

Сокёл обернулся на пассажирском сидении: едва избежавшая аварии «Газель» уже нырнула в узенькое пространство у отбойника и теперь настырно протискивалась вперёд, почти прикасаясь к их машине своим чёрным лопухом.

– Ну конечно! – с какой-то даже радостью воскликнул Зёма, рассмотрев водителя, и, когда кабина поравнялась с его передней дверью, опустил правое стекло и завопил: – Эй, аул! Авца спешыт дамой забйил?!

Аул медленно проплыл мимо, глядя на них своими тёмными, доисторическими, ничего не выражающими глазами. Заехал за стоящий впереди «Спринтер», вроде бы даже легонько чирканув того по борту. Раздались гудки. «Газель» судорожно качалась, то скача в пыли вдоль отбойника, то резко принимая влево, пытаясь пихнуться в медленно продвигавшийся поток. Сокёл, на которого вместе с летним жаром из открытого окна пахнуло ещё и зловонием обгаженной кабины, оторвал тяжёлый взгляд от бараньего боя и повернулся к Зёме, чтобы высказать всё, что у него накопилось, но тот уловил момент, и, не позволив другу включить пятиминутку киселёвости, принялся обыгрывать своё недоволь-

ство, стуча нервненькими ручонками по рулю:

– Понаехали!.. В мою страну!.. С дерева за руль!.. Из-за них пробки!.. А-а-а!! Невыносимо!! – (Он изображал свихнувшегося в пробке (ну, или ведущего ток-шоу на центральном канале)) – А ещё собираются по три часа!.. Где у них совесть!.. Нету совести!..

Тут Зёма резко сменил тон и, взглянув на Сокола, очень спокойно и мирно произнёс:

– Но мы ведь никогда не ссоримся из-за таких мелочей, правда?

Сокёл разжал кулак, придушивший дверную ручку, и грузно наклонился, доставая бутылку минеральной воды. Пшикнул. Попил. Зёма, как обычно, прокопался по мелочи – что-то в последний момент укладывал, что-то докупал – и вместо пяти они выехали в полседьмого. Теперь рисковали попасть в самые что ни на есть пиковые пробки на КАДе. А кадить им нужно было долго... До М4 по кольцу было порядка пятидесяти километров.

Если честно, Сокёл уже давно смирился с тем, что при общении с Зёмой он ощущает себя прозрачным. Друг каким-то непостижимым способом прочитывал его на страницу вперёд, и как бы Сокёл ни пытался перелистнуть незаметно, по-своему – Зёма неизменно дожидался его в начале верхней строчки. Вот и теперь: полюбовавшись на Зёмино бесячество, Сокёл устыдился разводить нечто подобное сам.

Он отвернулся к окну и стал злорадно дожидаться затора.



После Солнечногорска движение чуть-чуть разогналось, и лицо Сокола принялось понемногу светлеть. Правда, это была всё же такая, туманная, светлость... Он хоть и сидел с виду спокойный, и профиль его, отражённый в боковом стекле, изображал эмоции, внешне согласные с настроением ясного августовского утра, но по рукам, непрерывно менявшим своё положение, трогавшими то одна другую, то окружающие предметы, можно было с лёгкостью установить то, что происходило в его сознании. Его мысли, вот точно так же, как руки, сплетались, отталкивались, наслаивались, вспыхивали, создавая ощущение напряжённого фона, постоянным тихим шёпотом торопившего делать что-то очень срочное и важное, пусть даже и не до конца сознаваемое. Нет, глядя на берёзки, весело пробегающие мимо машины, на солнце, сияющее из синевы, Сокол, конечно же, понимал, что, вместо того чтобы просто радоваться этому счастливому утру, он в своих мыслях забегает куда-то далеко вперёд, погружается в какие-то тревожные проблемы, которые, вполне вероятно, и не встретятся на его сегодняшнем пути. Но понимал он это всё вчуже... Воспринимал эту тревогу как должное и ничего даже не пытался в себе изменить... Больше того! Если мы вдруг начали бы рассказывать ему, что существуют целые страны довольных людей, способных вот именно так, не забегая далеко вперёд, ехать и наслаждаться текущим приятным моментом – причёсывать палисадники и передавать их из поколения в поколение, – то он... Да он даже и не

заметил бы наших слов! Как котёнок, спешащий к заветной мисочке с молоком сквозь завалы долларовых пачек, он не смог бы понять, о чём тут идёт речь – настолько привычной была для него жизнь в постоянном стремлении к какому-то воображаемому месту, которое одно только и подходило для того, чтобы там отдыхали.

Друзья довольно быстро добрались до Кольцевой и вот тут-то, естественно, прилипли по полной, встав в конец длинной очереди, медленно подвигавшейся на въезд. Соко́л, глядевший на пробки, оторвался от экрана и с унылым удовольствием махнул рукой, кивая кому-то:

– О... Вот теперь – всё.

Зёма повернулся к нему, выпучив глаза. Ибо только теперь он узрел рядом с собою пророка. «Но как ты узнал?» – вопрошал восторженный взор.

Скромняга-пророк вежливо пояснил средним пальцем...

Попадалово было конкретное – теряли как минимум час. Но изменить-то уже ничего не могли... И водитель держал крепко руль. Смотрели вперёд. Ехали...

И может быть, оттого, что размеренное продвижение вмиг заменилось на нудную пробку, а может быть, оттого, что забег к далёкой цели был заторможен в самом начале, но только странная картина предстала перед ними, когда они вошли на кольцо. Нет. Даже не так. Картина-то предстала перед ними самая обычная, а вот восприятие её было странным: угнетающим и томящим.

Вот что они увидели: стройные ряды бесчисленных кузовов, устремлённые в небо; в небе – одинокое солнце.

Машины медленно ползли, поблёскивая заграничной эмалью. Кто-то плёлся понуро и покорно, не меняя ряда, кто-то торопился, наскакивал и влезал, кто-то в ответ на это ревел и возмущённо бодался лакированным боком... С пригорков, проходивших по правую руку, спускались всё новые и новые пёстрые очереди: боязливо тыкаясь носом в землю, вежливо припадая на задние оси, мигая благодарными поворотниками, они вдавливались в общее движение и тут же без остатка растворялись в нём, словно и не существовали никогда прежде по отдельности... Насколько хватало зрения, вперёд растянулась несметная непроходимая суевливая масса. Согнанные плотной толпой, монотонно жующие бензин тела слились в непрестанно идущий, мельтешащий, урчащий поток, отправленный на очередной круг щелчком какого-то огромного, с телебашню размером, кнута.

А небо было обширным и лёгким... Своим ярким простором оно словно подшучивало над серой суетой пучефарых телят и призывало к тому же других.

Но не шутилось...

Слишком торжественной, а может быть, и пророческой выглядела эта картина. Почему-то казалось, что внутри каждого корпуса томится частичка чего-то светлого, чего уже нельзя разглядеть напрямую, но существование чего всё же можно ещё наблюдать – по взблескам, по отражениям, по

порывам; намёки невидимых частичек собирались ото всех сторон, воздымались над потоком, сливаясь в одно всеохватное неотступное чувство, напоминавшее... нет, не сияние солнечных лучей, разлитых в небесном просторе, а скорее неумолчный шёпот листвы.

И как же безрадостно, как невпопад звучал этот торопливый старательный шёпот под бескрайним светлым молчанием!..

Тягуче пел, ныл прямо, что не будет конца этому стаду; что не перестанет оно прибывать – задыхаясь в удушливых газах, исходя воплями вскинутых над потоком кабин, сверкая вытаращенным ужасом зеркал – пока все не собьются в одну неподвижную, остывающую массу, пока там, за кольцом, никого не останется... Вслушиваясь в этот шёпот, очень хотелось верить, что он иллюзорен, ошибочен – настолько тих и незаметен он был поначалу... И хотелось шутнуть что-нибудь по-быстренькому, потом шутнуть ещё и ещё, а там, глядишь, расшутившись себе восвояси, позабыть о странном видении...

Но не шутилось...

И глаза, неотрывно следившие за жестами то одной, то другой машинки, из каждого суетливого молчания раз за разом извлекали ясные, на разные голоса повторяющиеся фразы. «Я лучше всех...», «каждый сам за себя...», «соблюдай дистанцию...», «а что я? я как все...» – отчётливо звучал деловитый шёпот над потоком.

И тогда на миг даже страшно стало. Но не от того, что потоку не предвиделось конца (вот уж чем столицу не испугать, так это входящим потоком (всем ведь известно, что Москва и давно уже превратилась в такую удобную резино-вую штучку)) Нет. Показалось, что у потока нет и начала! Что это не шустроглазая нетерпеливая голова, невидимая за поворотом, ведёт всё стадо в просторные богатые поля, а зловонный от многомордого дыхания, слепой чёрными и ничего не выражающими глазами хвост, в который, проделавши полный и безуспешный круг, обратилась нынче она, что это хвост бездумно напирает на впередиидущие спины, но что никто из толпы этого не замечает, что всё равно каждый во что-то верит и зачем-то движется вперёд, распространяя по кругу и без того уже невыносимое давление...

Ты спросишь: чувствовали наши друзья всё это взаправду? Или они и не замечали ничего необычного, а это я, я все чувства за них поведывал? Не знаю, что тут ответить... Чувства других и вообще то сложно разбирать, ну а уж сидя над книжкой (пусть даже и представляя, что находишься на заднем сидении автомобиля) – и подавно. Но только, знаешь, бывают приметы... Как объяснить... Ну, вот когда видишь, как на поверхность просачивается слабый родничок, ведь это доподлинно значит, что из-под земли ищет выхода сжатая неимоверным давлением река...

Ну а если точнее, то по Соколу и во все времена довольно

легко было установить, что он чувствует, что переживает в тот или иной момент времени: он хоть и старался сдерживать себя и вёл себя всегда очень прилично, но фразами, жестами, движениями выдавал реакцию своего сознания на происходившее вокруг. Зато вот по Зёме, то есть по его внешнему виду, установить состояние его внутреннего мира было и впрямь почти невозможно. Всегда спокойный, всегда ироничный; было очень похоже, что, за исключением бронебойных глазок, ничто его пробить не могло. Конечно, Соколу (да и не только Соколу) это в нём очень нравилось, и этим Зёма всегда поддерживал друга в его наполненной переживаниями жизни, но вот только время от времени тем же самым и выбешивал до полного поросячьего копчения.

Так получилось и на этот раз.

Зёма, пропитавшийся общим духом и тоже поначалу порезвившийся между рядами, вскоре подостыл и принялся смиренно нюхать хвосты в крайнем левом. Зато вот Сокóл понемногу закипал и уже несколько раз порывался высказать что-то. Он то и дело бросал завистливые взгляды на выпендристое внутреннее кольцо, по которому летели свободные, побулькивающие радостными соплями машины.

– Когда ж они с пробками-то, блин, разберутся? Себе-то ведер повешали и не парятся вообще... А ты тут стой... – не выдержал он наконец.

И Зёма, хоть он и знал доподлинно, чем это кончится, тем не менее ковырнул в ответ:

– А ты мог бы поехать на поезде, мой милый...

– А они могли бы дорог побольше построить! – вмиг рванула струя раскалённой соколей справедливости. – Например, тридцать процентов откатика себе не брать, а зато в полтора раза больше дорожек проложить! А? Как тебе?

– Ну, ты для этого мог бы поактивнее себя вести... Проверять, например, госзакупки, писать претензии...

– Да? А ты что, много пишешь?.. И будет-то – что? Ты что, не знаешь, что на все жалобы они только отписываться горазды...

– Что будет... Да как только каждый начнёт проверять и писать – я тебя уверяю, мой милый – в мгновение ока всё поменяется.

– Ага, уже поменялось! – Сокóл звонко шлепанул по торпедо. – Тут уже один раз каждый начинал писать и, даже больше тебе скажу, на улицы начинал выходить. И какой, ты думаешь, был результат? А результат вот какой: соцсети все под контролем, политзаложники – все по тюрьмам, собрания запрещены, личные мнения – подсудны, а прокуроры – как дружили с бандосами, так и дружат, и собачки – как летали на джетах, так и летают, и главарь всё так же мило посмеивается, когда к своим уркам на сходку приезжает!

– Ну ты, это, поосторожнее... – сказал Зёма, имея в виду, скорее всего, торпедо... – Ты бы вот лучше...

И они спорили... Спорили... Спорили...

Вообще, они часто спорили в этом духе. И спорить могли

часами... Во время таких дискуссий Сокóл всегда заводился не на шутку, а потом ещё долго злился на Зёму, переживая больше не из-за самого предмета спора и даже не из-за той безразличной иронии, с которой Зёма высказывался по поводу животрепещущих тем, а в первую очередь из-за очевидного непонимания им бесспорнейших истин. После каждого такого «мозгового слияния» Сокóл ощущал себя особенно опустошённым и одиноким. Ну, то и понятно. Ведь то, что бóльшая часть нашей публики глядит безучастными, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами, тут всё светло и ясно, это в точности как у всех. Вот что среди понимающих граждан нашей многострадальной не наблюдается никакого общего взгляда, что нет хотя бы партий, что ли, каких-нибудь, или движений, к которым честный человек мог бы, себя однажды причислив, потом уже во всю жизнь не задумываться, – вот это уже, конечно, как-то не так, тут уже какое-то брожение смеркается и ненадёжность туманная подступает. Но когда твой друг, твой близкий друг! который видит ровно то же, что ты, который точно так же как ты зарабатывает свои немудрёные деньги, который живёт в том же городе и бродит меж тех же домов, – когда он не понимает тебя и говорит с тобой на другом языке, относясь к своей стране и к проживающим в ней людям совершенно по-иному, – вот тут уже начинается сгущаться темнота, вот тут нависает настоящее, безысходное одиночество, с которым и жить-то нельзя, от которого только бежать, бежать можно...



Друзья были... (Я на время прервал рассказ, чтобы перечитать написанное... и вижу, что как-то не следует из первых страниц, чтобы они выглядели сильно похожими (ну а уж чтобы сдружиться могли – и подавно)) Только, понимаешь ли, поставленная перед нами задача в том и заключается, чтобы понять, что между ними общего, насколько они... как это сказать... друг в друге отражаются, что ли...

Что общего? Да... Тут и впрямь: возьмёшься объяснять, да так сразу и не объяснишь... Бывает такое? Видишь прямо перед собой что-то с детства знакомое, обыденное, простое, такое, что уже к одному какому-то коротенькому слову свелось, и ведь знаешь! прям-таки чувствуешь, что это слово значит, как оно проявляется, как работает, из каких четырёх букв состоит – а начнёшь его расписывать и после первых же жалких «пык-мыков» понимаешь, что за двумя-то короткими звуками скрывается что-то настолько огромное и сложное, для описания чего и вообще всех, сколько бы их там ни было придумано, слов неостанет.

Давай разбираться.

Сокбл – с короткими жёсткими волосами, плотно сбитый, добродушный и краснолицый увалень, вес которого от постоянного употребления пенного уже хорошо так перевалил за центнер (любящие друзья его так и называют нежно: «Хряк», а сам он смеётся, опуская глаза долу: «Кость тяжёлая...»). Всё принимая близко к сердцу и постоянно переживая по поводу и без, он находит два основных пути для

взаимодействия с этим неустроенным миром: он либо бухтит на него, считая, видимо, что бухтежом своим исчерпывающе исполняет гражданский долг (это легко можно установить по тому удовлетворению, с которым он откидывается на спинку, разнеся в пух очередного негодяя), либо машет на этот мир рукой, отправляя его на... прогулку. Зёма же – высокий и стройный, с длинными, прямыми и чёрными волосами, с прямым носом на гордом и умном лице, с точными и резкими движениями тонких музыкальных пальцев (в воспоминании о нём почему-то всегда на переднем плане – натянутые струны губ), – он чаще молчит, или посмеивается над происходящим, в общем, комментирует этот мир «или хорошо, или никак». Когда же он, время от времени, всё ж заговаривает о чём-то серьёзно – так, взглядом исчезая в туманной глубине, – кажется, что он знает вообще всё и что просто дал кому-то подписку о неразглашении, чтоб не травмировать сознание несчастных теляток...

Но это, мы понимаем, различия. Что ж общего в них? Любовь к пиву? К болтовне о машинах и прочей технике? Нет, конечно же, нет... То, что по-русски оба говорят и Пушкина в детстве читали? Да нет – Бокасса, например, тоже по-русски более-менее изъяснялся, а Пушкину так и вообще роднѣй был... Вот если глянуть в направлении политики – тут, конечно, забрезжит какая-то близость между ними. Например, в их отношении к власти вообще, и к Пу... (Тут, стоит признаться, нашего автора уже во второй раз что-то за-

ставило вздрогнуть и напряжённо оглянуться по сторонам – у него возникло прямо-таки осязаемое ощущение, что по помещению прошмыгнул кто-то посторонний... Но нет, никого не оказалось, кроме, естественно, серьёзного читателя, который с такой, добренькой, ухмылочкой не преминул напомнить, что родное наше государство ещё ни разу не признавало при жизни классиком того, кто позволял бы себе радикально высказываться в его отношении... (Ни разу!?!.. Ох, лучше бы он этого не говорил! ))

Ну да, они дружно не выносят Путина, терпеть не могут воря, присосавшегося к нашей трубе, и все без исключения заметные митинги последних лет посетили (хотя это, быть может, оттого, что им понравилось носить контрацептивы на лацканах? )) Но что, этим, что ли, ограничивается всё их сходство? Нет, конечно же, нет... Чем же тогда они так близки? Что тянет их, таких разных, друг к другу? Почему у Зёмы, даже когда он насмехается над нервным товарищем, во взгляде явно различаются любовь и забота, а у Сокола мелькает на губах тень довольной, согласной улыбки, даже когда он, вроде бы как обиженный, отворачивается к окну? Нет... Не приходилось мне слышать таких слов, которые просто и понятно объясняли бы это...

И знаешь... ведь может так случиться, что, отправившись на их поиски, я и тебя повёз в никуда...

Может это и впрямь пустая, неумелая попытка – искать что-то общее в столь разных и вполне сформировавшихся

личностях! Настолько же бесперспективная, как искать что-то объединяющее, что-то «наше», в обычном общечеловеческом раздражении перед автомобильным затором. Может, ровно так же, как нет и не было в друзьях ничего общего, а дружили и продолжают они дружить по инерции, из чувства ответственности, просто потому, что так получилось, так же по инерции двигалось, движется и будет во веки вечные двигаться вообще совсем всё? И ни они, ни я, ни ты, да и вообще никто в России, не ощущает сильнее прочих этого чувства, над медленно ползущим кольцом шепчущего о какой-то безысходности, о какой-то пустоте, о духоте и глупости всего, что вообще есть на свете...

Может, одно лишь носастое бормотание чьего-то мессианского самолюбия раздаётся теперь из салона?

Или всё-таки есть? Есть между нами что-то общее? Но только не внешним видом и не мировоззрением, не словами или поступками отдельных людей – не повадками отдельных кузовов, – а чем-то на порядок большим, таким, чего вблизи и не разглядишь, выражается оно? Чем-то, в отличие от самодовольных немецких очередей, нетерпеливо снующим и подрезающим, и от этого непрестанно нервничающим и нервнующим других; чем-то, в отличие от дисциплинированных неотвратимостью наказания штатовских потоков, постоянно пересекающим белую черту, постоянно стремящимся всех обхитрить и объехать, чтобы попасть по обочине в самую мечту, а вместо мечты встающим в целую пробку по-

добной же хитрости; но и чем-то, в свою очередь, гораздо более спокойным и покладистым, в отличие от невообразимого ада индийских дорог...

Да! Вот именно в таком, только с очень большой высоты различимом – в общем для всех восприятии, в приемлемом для всех поведении – и заключается то, что делает немца немцем, индуса индусом, а русского русским. И знаешь, ведь это ровно то самое, что и друга делает другом. Просто... говорить ли?.. да ладно уж, расскажу... Просто, знаешь, никогда и не существовало никакой такой «личной» души... Во все времена существовали только души народов, отражениями, отблесками которых были, есть и всегда будут сознания отдельных людей, таких, как я и как ты. И как степень близости между людьми зависит не от того, какое количество совпадений они обнаруживают между своими характерами и идеями, а от их способности со-чувствовать друг другу, то есть безо всяких слов, безо всяких объяснений, а только лишь на основании какой-то высшей, роднящей, неизвестно как между двоих установившейся связи, понимать, что оба они смотрят на пробегающий мир из одного и того же окошка, так степень единения народа зависит не от того, какое количество его граждан наделено одним и тем же, под копирку размноженным характером, и не от того, разделяет ли большинство один на всех расштампованный идейный набор, а от наличия каких-то, зачастую необъяснимых словами, но всем подспудно понятных идеалов, обычаев и тради-

ций, позволяющих чувствовать свою со-причастность этому народу, своё со-участие его огромному и неизмеримо важному движению.

В детстве, сидя рядом с отцом в бурчащей посреди зато-ра заслуженной «восьмёрке» (корпус которой при этом тряса-ся, как руки столетней старушки, а в салоне держался неизбывный, но почему-то такой успокоительный запах масла), я, помню, мечтал о том, как изобретаю специальный облущатель, который вмиг обращает все машины в летательные аппараты, и как мы взмываем над асфальтом и, радостно обгоняя друг друга, несёмся в какую-то неизвестную даль. Не припоминаю, если честно, присутствовали в этих мечтах деньги или другие какие блага, принесённые мне этим изобретением, но что там были немцы и американцы и вообще все совсем, – вот это точно. Толпы людей, собравшихся вдоль дороги и пораскрывших удивлённые рты, с уважением и восторгом показывали детям нашу необычную стаю, поясняя, что вот, это летят русские...

Да...

Так вот, знаешь что? Если бы папаня тогда в ответ на мои детские откровения не хохмил бы, на своём заумном кибернетическом языке перечисляя всякие изоморфизмы, динамизмы и прочие принципы обратной связи, долженствующие способствовать мне в скором решении этой задачки, а хотя бы один раз терпеливо и монотонно перечис-

лил последовательность действий, выполнение которых было по-настоящему необходимо для достижения этой грандиозной цели (в числе которых: построение эффективной системы образования, модернизация системы фундаментальных и прикладных исследований, создание конкурентоспособных в мировом масштабе машиностроительной и электронной отраслей (ну, это не считая пяти-шести авианосцев, готовых метнуться в ту точку планеты, где кто-то ведёт себя не так)) – я б, наверное, сразу опустил руки и спился бы, даже не дожидаясь совершеннолетия. А так (спасибо, пап!) я смог спокойно и радостно промечтать ещё пятнадцать-двадцать лет, прежде чем начал задумываться... Да что там... Даже теперь, если мне, взгрустнувшему вдруг от едва различимых, но всё ж ощущаемых шепотков «каждый сам за себя», «соблюдай дистанцию», если мне кто-то возьмётся объяснять, что нужно долго-долго, из поколения в поколение каждому за себя трудиться, чтобы когда-нибудь выстроить что-то стоящее, да я... я... переключусь быстренько на что-то приятное...

Ехали... В толпе автомобильных номеров числа чужих регионов пестрели так, словно это было не утро обычного рабочего дня, а финальный этап общенационального марафона с огромным призом на конце. В соответствии с утверждёнными кем-то правилами, для выявления обладателя приза и проводились эти каждодневные сборища лучших предста-

вителей ото всех уголков Необъятной. Представители от регионов прибывали самые разные. Из одного спешили на соревнование немудрящие ящики с помидорами, из другого – сочные солнечные очки, затмившие глаза их модного обладателя, в третьем регионе сквозь сито квалификации прошла резкая русская рука, что стремительно, как стриж, рыскала над асфальтом, Питер, как обычно, был мокр от брызг, льющихся на него из огромного грозового рта сквозь почерневший от страха телефончик... И только один, один-единственный на свете номер (по которому я позже с таким трудом, но всё же смог её отыскать ;-), увозил домой мою златовласую юную шалунью, что напоказ разлила по заднему сиденью свои роскошные волосы и за спинами ничего не подозревающих родителей расчёсывала их и переливала их блестящие солнечные струи, выуживая вцепившиеся в наживку её ослепительной красоты взгляды...

– Да куда ж ты лезешь, Трамп ты разбери! – президентил Зёма очередного «спортсмена», потрясая рукой.

– Так мы сегодня не доедем, – тревожился Сокёл. – Прибытие в пять утра теперь показывает.

– Миленький! Неи Буш мой мозг, а? И так уже плавится! Давай лучше тому, кто нас отсюда вызволит, душу твою продадим!

– Да ну тебя... – отмахивался Сокёл. – Тебе лишь бы поржать! Нам ехать и ехать ещё...

И они ехали... Ехали... Думали, что едут. Нервничали,



поругивались, торопились... А на самом деле это плотный рукотворный поток нёс их меж пологих берегов, зеленеющих аккуратно подстриженной травой, украшенных яркими клумбами и ровно подрезанными кустами. Перед тягучим движением взоров проходили серые, эйзенхенной сложности развязки, каждое ответвление которых было заполнено спешащими, запрыгивающими друг на дружку машинами. По берегам раскинулись разжиревшие современные склады, броско размалёванные продажные центры со стоянками, полными похотливых автомобилей, жилые кварталы с характерами, подчёркнутыми умелыми штрихами макияжа на юных фасадах – простеньких и аккуратно-панельных, или наоборот, многоэтажных, безбашенно-пятнистых, или строгих, выдержанных, достойных, в общем, рекламы местного муниципалитета. На каких-то участках ещё только росли серые скелеты будущих красоток, и вокруг них озабоченно кружились мускулистые подъёмные краны, поблёскивающие на солнце дикими взглядами кабинных стёкол. Коренастые ЛЭПины, опутавшие всё это дело несметными диковаттами энергии, гордо упирались в бока, довольные проделанной работой... Всё росло, цвело и строилось... Забег был в самом разгаре, как и утро нового дня... Номер наших друзей был не менее уникальным, чем прочие... Сливаясь в одно неохватное желание, всё самозабвенно стремилось к цветущей, волнующей цели... И была такая надежда, такая уверенность в этом едином стремлении вперёд, что

представлялся безусловно ошибочным и необычайно избирательным тот полусонный и заоблачный взгляд проезжего отпускника, которому в этой обыденной и полной умысла суете мерещилось то бездумное душное стадо, то задыхающийся от желаний забег, то скупающая в безысходном русле река. Цель точно была. Не могло не быть леденящей дух, взлетающей в восторженную лазоревую бездну, неодолимо влекущей к себе такое количество столь разных людей цели!

Зёма на автомате запустил дворники – из чистого неба удивительным образом вылилась капля и гулко ударилась о стекло. Тут же из динамиков издевательством зазвучало подробное, смачное описание пробок. Он переключил канал, но вслед раздавшейся ритмичной музыке никто не закачал головой, не задвигался в такт. Молчали. Какая-то странная лень, какое-то безнадёжное смирение и вправду ощущались в салоне. Сокол был погружён в себя, вернее, в экран своего смартфона. Зёма, сжимая тонкие губы, устремлял взгляд вперёд в ожидании спасительной зелени указателя. И если Сокола здесь уже и любой бы обличил в мягкотелости и созерцательности (уж с таким радостным страданием на лице, с таким аппетитным причмокиванием он отрывался от экрана, закончив читать очередную оппозиционную гадость (напоминая даже мазохиста, получившего исключительно удачный шлепок по попке)), то вот на мужественном лице Зёмы покоилось спокойно-напряжённое выражение, какое может быть только у человека, полностью осознающего свою цель и

уверенно к ней стремящегося. При взгляде на его лицо становилось легче и светлее, словно раскрывалась ровная и чистая дорога, в конце которой уже почти различим был величественный контур...

Едва вырвавшись на магистраль, Зёма поначалу втопил так, будто улепётывал от оголодавшего людоеда... Но очень скоро прервал ветросвистную гонку, остановился перед зданием заправки, заглушил двигатель и торопливо скрылся в дверях.

\* \* \*

Говорят, желание выделиться из толпы – фишка современного мира. Эдакая универсальная цель любой жизни. Отсюда толпы фриков, веганов, правозащитников и всяких прочих меньшинств (ну а если попроще – любителей красиво приодеться или сфоткаться «там, где никто»)... Говорят, что в нашем конвейерном, заштампованном мире это – единственная отдушинка, малюсенькая свободка, оставленная винтику, чтобы он хотя бы в её рамках мог ощущать себя личностью, мог радоваться и не быть одиноким... Конечно, так!.. может быть... На протяжении всей истории – пещерным людям, все усилия направлявшим на борьбу с природой, рабам, под палящим солнцем возделывавшим рис, китайским... да что там китайским-то, нашим русским крестьянам, из поколения в поколение выцарапывавшим у при-

роды жалкий свой урожай, – всем им явно было не до самоопределения, не до самолюбования... Да вот только как же тогда греческие горожанки, хвастающие коллекциями олисбов, и римские матроны, торгующие телом в плебейских кварталах? Как восточные правители, которым прямо по штату полагалось обжираться в знак богатства страны и оплодотворять тысячные гаремы в знак своей силы? Как, в конце концов, Содомы с Гоморрами, «Пиры Валтасара» и все прочие эпикуры? Если всех их представить, не станет ли похожей эта «современная фишка» на огромную коллекцию фишек, таких золотых, с портретами императоров фишек, скопившуюся в музеях за тысячи лет нашей истории? Не может ли стать так, что, взгляни на себя здоровый, сытый, обеспеченный человек, упивающийся собственным телом и потому измождающий его диетами, проколами, татуировками и содомией, взгляни он на себя с какой-то другой, на порядок большей высоты, – и он тут же почувствует, что его «личность» – это и совсем даже не то, что он каждый день наблюдает в зеркале. Что желание выделиться – следствие какой-то другой несвободы... Да только редко кто на ту высоту подымается... И не только теперь, а всегда так же было. Было б оно по-другому, к нашим временам вся планета кишела б монастырями, а мирские городки скучали бы, позабытые в глухомани... Ну, оно и понятно: лезть туда сложно и долго... и ветра там промозглые дуют постоянно... и диван с холодильником – не на произвол их бросать ведь... Насколь-

ко проще: покрасить в зелёное прядь, да в носу дырень покрупнее проделать. Поднять, так сказать, трепещущее знамя свободы...

Тянется трасса навстречу... Долгий путь впереди... Здесь, в замкнутом уютном пространстве – спокойная музыка и мерный скрип сиденья... Там, за стеклом, – бесконечная необъятная природа. От неё никуда не убежишь, от неё не спрячешься. Проплывает мимо, обволакивает, словно вода в реке. Как-то сама собой, неотвратимо, рождается мысль: «Почему всё – там, а я – здесь?» И пальцы непроизвольно сжимают своё тёплое тело, усталый взгляд направляется в боковое зеркало и долго наблюдает себя...

Ты едешь... Оглядываешься, а и вокруг все куда-то спешат. Трудишься... Глядь, а ты посреди огромной толпы... И ты любишь, любим!.. так же точно, как и все из века в век плодящиеся миллиарды... словно воодушевлённый писатель, собравшийся написать новое и уникальное произведение, с каждой новой попыткой всё более изумляясь и охладевая, ты натыкаешься на фразы, интонации, на целые тексты, которые всем до боли известны, которые тысячу раз уже были... «Кто же я?» – утомлённая шепчет мысль... Но вместо ответа только кто-то огромный нависает над тобою. Смотрит... Молчит... И стоит лишь испуганному взгляду на миг отвернуться от зеркала, как пальцы тут же со злостью начинают грызть плоть, рвать своё тело... И ты, лишь бы только отвлечься от этого ужаса, приникаешь к себе, впиваешься

в себя глазами и с этого момента себя только чувствуешь, о себе только думаешь.

И знаешь, ведь чуть по чуть привыкаешь... И со временем уже не воспринимается как ловушка спёртое пространство салона... И кажется, что можно и так: в достатке и в мире куда-то всё ехать, ехать... Строить, копить, починять... И детей своих тому же учить – покупать им помягче диван да побольше телевизор... Внутри задыхаясь, но оставаясь спокойным наружно с липкой, натренированной за долгие бессонные ночи ухмылкой вещать: о бананках и замках, о бэтмэнах и о танках. Выставлять напоказ проколотый нос и всунутое в него розовое колечко...

Но что, если взгляд не отворачивается?.. Что, если ты не сдаёшься?

Тогда выносить его приходится. Долго... Верить во что-то большое и заоблачное, собою жертвовать ради него. Кровью и потом писать вот эти корявые, невозможные, наивные строчки. Впрягаться в плуг измождённой грудью и тянуть его по бескрайней целине. И ещё улыбаться, чтобы все это видели, чтобы всем им казалось, что тебе с каждым шагом всё лучше и веселее... И выискивать одобрение и поддержку в спокойных глазах, стараясь не замечать, как они, липко посмеиваясь, попивают свой Спритц...

Вдоль дороги проходили пыльные подмосковные леса – ленивая природа давным-давно уже запихнулась в их дра-

ное пальтишко, испестревшееся проплешинами полужаросших полей, а чинить всё никак не хотела. Нет, она, конечно, разукрашивалась свежими заводиками с намалёванными на их стенах заграничными логотипами, и заправками, натянутыми вывески иностранных быстрогодков снаружи и вежливые маски внутри, но это делалось скорее для того, чтобы выделиться из толпы, а может (и это ещё скорее), чтоб просто прикрыть свои дыры. Выглядела же она от этого глупо – словно какой-то туземец, нацепивший на себя в качестве украшения всё, что только сумел выменять на золото.

Летя по современной трассе, приветливо поглядывая на невысокие берёзки и сосенки, добротным скандинавским пейзажем обступившие её по бокам, Зёма на глазах расправлялся после пробочного пресса. Он гутарил прибаутками, правда, получалось, в основном сам с собой, потому что Соко́л, взбудораженный после очередной схватки, пропал, ну, или делал вид, что пропадает, в каком-то тексте, ползущем по экрану смартфона, лишь изредка возвращаясь, чтобы, хмуро взглянув на окрестный пейзаж, гукнуть что-то неопределённое в ответ.

О чём спорили? Тут уже так сразу и не скажу... Когда такие споры звучат ежечасно и со всех сторон – разве их все упомнишь! Было что-то вроде судеб Родины... Или жарки блинов... И что-то ещё про дрова... А! Так Соко́л вопил восхищённо, что Россия, кроме газа и нефти, ничего делать не умеет, и потому, когда всё это дело закончится, то сможет

только дрова рубить да блины печь. Зёма же посмеивался, перечисляя Циолковского, Павлова, Шишкина, Достоевского и пр. В общем, до боли знакомая тема – нищие лапотники, которые кому-то что-то обязательно должны доказать.

Вот и закончилось как обычно: когда Зёме посчастливилось найти где-то на дороге одинокую ямку, Сокёл ухватился за неё так, словно это была не ямка, а древко священной хоругви, и, потрясая ею, долго и победоносно вопил:

– А ямы кто у тебя заделывать будет? Циолковский? Циолковский, да?!

Ехали...

– Эй, медведь, чего лежишь, – (читал из последнего Зёма), – стопкой одеял дрожишь? Печь поди и протопи ты, иль и это не можешь?

– Пидорасам запретили парад в центре, – сухо докладывал Сокёл.

– А ты собирался? – сочувственно вздыхал Зёма.

– Центробанк будет рубль отпускать...

– А у тебя есть? – сразу оживлялся друг. – Дашь в долг?

– Ты б на дорогу смотрел, миленький мой! А то ещё какая-нибудь «Газелька» подскочит...

– Да ладно ты, доберёмся!

– С тобой доберёшься! Не успеем мы до ночи доехать! Не успеем! Как нам в темноте там искать?

– Ну кончай, кончай, дорогой! Ты-то ни в чём не виноват! Глянь лучше – класс какой! Как в Европе, а! Ведь точно: как



в Финке или в Германии.

Автострада и впрямь была здесь широкой и ровной, травка по сторонам – стриженной, перекрёстки – размеченными, окрестные леса – чистенькими, в общем, всё выглядело так молодо и опрятно, что даже Сокóл не сумел найти в этом виде ничего плохого и замолк, уставившись в окно.

Нет, ну вот бывает же такое? Знаешь, что всё хорошо, что всё ты в жизни делал честно и правильно, что семья твоя в безопасности, что страна твоя растёт, цветёт и строится, а сам ты заслужил право на отдых и на радость... Но чем явственнее ты это понимаешь, тем сильнее погружаешься в какое-то необъяснимое состояние, среднее между ощущением пустоты под ногами и нарастающим давлением в котле стоящего под парами паровоза. Роятся бесконтрольные мысли, в предчувствии сжимается сердце... Всё кажется, что надвигается какое-то несчастье, про которое ты просто за-был (и тем страшней), и всё ум перебирает вину и виновных, всё что-то вспоминает, но, вспомнив, – тут же понимает, что за-был, что именно вспомнил. Тяжёлое, изнурительное состояние.

– О! Началось! – через несколько минут как-то даже радостно пробухтел Сокóл. – Европа!..

Ну да, действительно, – началось. Красоты хватило ненадолго, и уже за Каширой европейская дорожка побежала по своим делам, а наших друзей подхватил тихий волгоградский путь, правда, тоже аккуратный и современный, но, если

уж сравнивать, больше походящий не на федеральную трассу, а на просёлок под каким-нибудь Гильзенкирхеном. Поворотов стало больше, разметка потускнела, машину затрясло... Пришлось снизить скорость, для обгона теперь выезжали на встречу. Сокёл прямо-таки чувствовал, как (как грустью) нарастает время прибытия, и не преминул сообщить об этом другу.

Они ехали... ехали... А может, это родная земля текла им навстречу, плавно покачивая машиной на перепадах поворотов, вздыхая ею на волнах подъёмов?

По дороге шли теперь в основном неторопливые фуры. Были и внедорожники с большими прицепами. Но всех их было немного, и все они казались тучными и добродушными: помогали поджарым путешественникам, прижимаясь к обочине, подсказывали поворотниками. В проплывающем за окном пейзаже что-то неуловимо менялось. Придорожные леса редели, всё чаще и просторнее становились между ними разрывы. Те же, которые редеть не хотели и с хитрым лесным любопытством подходили вплотную к дороге, почему-то казались гораздо более сочными и аппетитными и подходили уже не на скромный скандинавский, а прямо на какой-то сытопузый баварский пейзаж... Но общие черты природы и здесь оставалась всё теми же. Как бы сказал один наш знакомый (если б он хоть на миг оторвался от экрана и выглянул за окно), природа дожидалась хорошей немецкой порки. И точно: местные обширные поля вели себя ничуть

не менее распоясанно, чем те, худые подмосковные svolotchí. Валялись по просторам почём зря, иногда до самого неба раскатывая свои небритые седые холмы...

Ехали... Ехали...

– Слушай! А ведь здесь всё совершенно другое! – с удивлением констатировал Зёма. – Заметил? Вот я думаю: всё же влияет природа на человека, да? У нас просторы, у них – границы...

Сокóл молчал.

– С другой стороны, у них тоже теперь границ всё меньше и меньше, – продолжал с сомнением Зёма, – вот только простора как-то не прибавляется... С третьей стороны... Эх, шей бы зелёных сейчас! А?.. – почему-то подумал он вслух, а Сокóл вдруг ощутил всем своим мощным желудком, что тоже именно о шах сейчас и мечтал.

– Давай ещё часик потерпим, а потом покушаем, – сказал он, сглотнув. – Я тебя там и сменяю.

Но вытерпеть как-то не получилось... Уж слишком навари́сто темнела зелень вдоль дороги... Увидев придорожный комплекс, друзья свернули – сначала заправиться, а затем и закусить.

Пока Зёма заливал бензин, Сокóл зашёл внутрь и с сомнением взглянул на выставленные в витрине жалкодоги. Внимание его привлекла молоденькая операторша, которая поднялась из-за кассы при его появлении. Она была чёрненькая, восточная – то ли татарка, то ли казашка. При взгляде на неё

сразу веяло степью, звучала заунывная песня... Но приметилось ему скорее не это. Видно было, что она только что плакала: глазки её были красны, уголки губ глядели книзу... Соко́л, как-то весь разом, дёрнулся к ней, да тут же и замер, не зная, что предпринять. Затоптавшись в нерешительности, он сделал вид, что продолжает рассматривать булки.

– Ну... А чего мы такие?... – Зёма, вот этот даже и секунды не просомневался, спросить, не спросить. Протягивая девушке карту, он весело смотрел на неё. – Чего случилось-то?

– Ничего... – не глядя, ответила та.

– Да ладно, «ничего»! Вижу же, что «чего»!

Зёме уже порядком прискучило играть в спорики со своим однообразным другом. Ему прямо не терпелось взболтнуть чего-нибудь настоящего.

– Так... – твёрдо, но с блеском во взгляде ответила девушка, возвращая карту. – Вам наши товары по акции нужны? Вода... Вот ароматизаторы...

Зёма помотал головой и уже собрался уходить, но взгляд его упал на мявшегоса Сокола.

– Дайте шоколадку... И воду давайте... – Он снова протянул карту.

Пробив покупку, девушка положила товары на прилавок. Зёма взял карточку и воду, а над шоколадкой занёс руку и серьёзным голосом, глядя в глаза продавщице, произнёс:

– Ты можешь говорить что угодно... Но есть... Есть такие люди, которые всё про всех знают... Теперь эта шоколадка

заряжена на счастье. Будешь есть по одной дольке в день – всё исправится. Не будешь...

Тут он таинственно замолк и направился к выходу. Сокёл, покраснев от стыда, поспешил вслед за ним.

– ...нос... – донеслось им вслед, когда они уже выходили.

– Что?.. – Зёма, не расслышав, вернулся в магазин. Дверь за ним притворилась...

Кафешка, в которую они зашли, находилась в сотне метров от заправки. Ни о каких иностранных буквах здесь речи не шло, но всё ж кафе принадлежало известной общенациональной придорожной сети «Уют», представительства которой, не отличающиеся, правда, каким-то единым корпоративным стилем, так хорошо знакомы всем путешествующим по России.

– ... – прозвучал обвиняющий голос.

– Да ладно, – сказал Зёма, входя в помещение. – Бывает...

– Ну ты... – всё нервничал Сокёл.

– Ты, чудо моё, лучше присаживайся... Я тебя обслужу ша по высшему разряду!

Зёма подошёл к кассе и с затаённой надеждой спросил возвышавшуюся за ней дородную тамбовскую бабу:

– Здравсьте! А щи-то зелёные есть?

– Скока? – вместо ответа строго произнесла она.

– О-о-о! Два! – обрадованно засуетился Зёма, запихивая руку в карман. – И это, с яйцом и сметаной!

Баба провела по нему насмешливым взглядом, давая понять, что это он маму свою мог бы так поучить.

Сделав заказ, Зёма присоединился к другу за аккуратно шатающимся столиком, слегка накрытым клетчатой клеёнкой. Не успел его голодный желудок подтянуть зубами кусок лаваша, как молодая зардевшаяся официантка поднесла их трапезу, расставила тарелки по столу. Восторженными жестами глаз Зёма описал другу свои чувства в отношении обширных русских просторов, что, смущённо покачиваясь, уплывали от их стола, но расстроенный Сокёл пожал плечами и отвёл взгляд:

– Нашёл, тоже...

Зёма же, сделав неулыбчивое лицо и разводя руками, через его голову кому-то сказал:

– Ну, а чё поделаешь...

Сокёл обернулся – хозяйка из-за кассы строго глядела на Зёму, скрестив руки на выдающейся груди.

– Эх, молодость, молодость... – продолжил громко развивать глубочайшую мысль Зёма, но первая же ложка кисленьких, приправленных холодной домашнею сметанкою и мягким сочным яйцом щей нагло и глухо оборвала его на полуслове, заполнив рот вызывающим неудержимое слюноотделение вкусом. Он поймал строгий взгляд всё ещё наблюдавшей за ним хозяйки, и, восторженно выпучив глаза и показывая ей большой палец, громко пробасил:

– Во!

Казалось, что она даже и не заметила похвалы... Медленно отвернула голову, выпрямила спину, свела руки, ещё выше приподнимая грудь... И вдруг, словно что-то припомнив, всплеснула руками, суетливо рванула на кухню...

Сокёл, заметно погрузневший после случая на заправке, без аппетита принялся за суп. А у Зёмы, наоборот, настроение непрестанно улучшалось... Он шутил, тормозил – в общем, любыми средствами старался развеселить свою хрюшкоподобную совесть. И стратегически действовал очень верно. Ибо что же могло лучше способствовать успеху этой операции, нежели совместный плотный и вкусный обед!

После супа они дружно наворачивали салат, порезанный аккуратной рукою, затем упорно молотили хрустящую ароматную поджарку с картошкой, щедро приправленной солью. И Сокёл даже начал отвечать не нападая (!) и уже пару раз бубнил что-то, отдалённо напоминавшее шутку, и где-то даже промелькнул краешек его простой виноватой улыбки (и показалось, что над страной вот-вот восстанет второе солнце, по крайней мере, небо разверзлось, и из сияния стал нарастать всеобъемлющий хор, но... (Ага, «но»... всегда, всегда – оно...)) Но, пока они ели, в кафе зашли ещё посетители – два хмурых дальнбоя. Сделав заказ, они сели за соседний столик, прибавили громкость телевизора. По центральному каналу шла какая-то «студия», и помещение тут же заполнилось перебивающими друг друга склочными голосами. Визгливо вопил женский: «Нет, вы это лично видели? Вы

э-то лич-но ви-де-ли?..», с акцентом оборонялся мужской: «Та российский! Российский след! Я коворю – российский!» Мужчины за столиком с интересом глядели на экран.

Сокола аж передёрнуло от этих звуков – хорошо, что он ничего не жевал в этот момент... Зёма же застонал на всё кафе, схватившись за голову:

– О-о-о... Мой моск! – И, обращаясь к соседям: – Мужики, убавьте вы эту ересь, пожалуйста!

– Чё сказал? – мгновенно среагировал ближний. В голосе пружинила угроза. Его коллега положил ложку на стол...

Сокбл так разнервничался, что, если бы Зёма не убрал вовремя руку, сжёл бы себе на хрен все брови, прикуривая. Они стояли рядом с машиной. Зёма курил с улыбкой, хоть и заметно было, что эта улыбка пока только заполняет пустое место. Сокбл же курил наоборот: так, словно всё вокруг было заполнено непригодным к дыханию дымом, и только в сигарете содержался живительный кислород.

– Ну, они... Ну, они... – выдыхал дым Сокбл.

– Да чё ты! Нормальные ребята, – успокоил его друг. – Это ж они нас от супостата защищать будут... Правда, конечно, войну тоже они первые начнут, – задумчиво поглядев на небо, добавил он. – Но это всё уже мелочи...

– Не, ну это как? Ну, у всех же права... – не понимал Сокбл. – И нафига ты к ним вообще пристал с этой Украиной? Зачем ты вообще со всеми болтаешь?



– Не могу молчать – вот и болтаю, – улыбнулся Зёма.

– Ну, тебя и прирежут где-нибудь на обочине... Или в лагерь отправят!

– Или отправят! – философски заключил Зёма.

Продолжили путь. Вёл теперь Сокёл, а Зёма блаженно отдыхал в пассажирском кресле, откинув спинку на полную и глядя в окно. После обеда Тамбовщина как-то уж и совсем подобрела... Раскинулась прямо привольем. Безбрежные, залихватские поля – русские поля – отражали волны небесного океана земными переливами, накатывали чередою холмов на бегущую по дороге машину, тянули за собой: нырять, плыть, кататься на их вольных спинах. И поля эти уже не стояли небритыми и распоясанными, не наряжались для показухи и не выкрашивали свои чубы в фиолетовый. Да им просто некогда было думать о такой хреноте! Они работали! Впахивали, что в твоём Арканзасе. Пшеница, подсолнух, горох, пшеница, картоха, пшеница, кукуруза сменяли друг друга ровными рядами, как красочные упаковки товаров сменяют друг друга на полках гипермаркета. Даже тридцатиметровые полосы, отделявшие дорогу от полупрозрачных древесных рядов по сторонам, струились, рябя жёлто-колосой или зеленолистой культурой. Всё было переполнено радостью, жизнью и счастьем, всё шумело, росло, воздымалось, до горизонта насыщая пространство тучным, сочным ароматом навоза, доносящимся с плодородных полей и заполняя дыхание чем-то исконным, надёжно и усыпляюще

мычащим и толкающимся за стенкой в хлеву...

А Сокóл смотрел прямо перед собой и из всего проходившего перед глазами приволья примечал, пожалуй, только серость дороги да бетонное мелькание столбов, да желтизну, составленную из полей и из солнца, ну и само приволье, его ощущение, разумеется... После обеда и его тоже клонило ко сну, но, так как спать было нельзя, то приходилось ощущать мысль за мыслью вполне, вот точно так же отчётливо, как какое-то время назад он ощущал глотки супа, один за одним протекавшие по пищеводу в пустой желудок.

И Сокóл раз за разом, медленно и томительно, как бы без аппетита заглатывал в мозг последние происшествия и снова и снова ощущал противный солоноватый привкус ответа, что это Зёма, один только Зёма во всём виноват.

Ну конечно же, он понимал, что именно тогда, когда не спешишь, когда не молчишь и не проходишь мимо, именно тогда теряется покой и появляются обида, отчуждение и печаль! Но в том-то и было всё дело (и именно эту самую мысль он всё старался и никак не мог проглотить, словно это была и не мысль никакая, а нескончаемый соплеподобный кусок), что от непрестанной спешки и от мимолётного сочувствия отчуждение и беспокойство никуда не пропадали, а появлялись вновь, но только уже с другой стороны.

Как будто страдание было гениальным многоликим актёром, способным играть в одной сцене одновременно всех: и белых, и красных.

Соко́л несколько раз порывался заговорить с другом об этом и даже уже раскрывал рот... Но не умел он, ну не умел! Как ни бился над ним автор, – не получалось у него выдавливать из Соколье́го бесконечного мыслеварения ничего, кроме ругани и бухтежа. Все Соколье́е рассуждения, как все дороги к Москве, как все обвинения к Путину, сходились почему-то только к одному щекочущему где-то под мышкой желанию: кого-нибудь хорошенечко вздуть, ну, или, на худой конец, двинуть ногою. Как, например, вот теперь – провинившегося, но с улыбкой дремлющего друга.

Чёрная вина, давным-давно поселившаяся у него в груди, изматывала, давила, скребла, пролезая всё глубже и глубже. И не было для него и не могло быть – сколько бы он ни искал, сколько бы ни перебирал вариантов – не было никакого исхода из этого поедающего его изнутри состояния. И при виде нарастающего встречного грузовика – ну каким же простым, каким счастливым решением казался слегка повёрнутый руль!

И знаешь... Если бы Сокола кто-то (меня уж уволь) взялся б жалеть и стал бы ему объяснять, что всю жизнь он именно потому и промучился, что скроил её по меркам вины, то есть потому, что привык во всё и всегда погружаться, во всём постоянно участвовать, всем и каждому сочувствовать по делу и без, сводя все вопросы вида «что делать?» до «кто виноват?», и что всё могло бы вмиг измениться, научись он, не тратя время и нервы на то, что прямо до него не касает-

ся, оперировать только соображениями собственной выгоды, принимая окончательные и компетентные решения и для их исполнения объединяясь с единомышленниками, – да он бы даже не...

По чёрной змеистой полоске скользит поблескивающее пятно. Навстречу ему и в одном направлении с ним перемещаются другие тёмные и светлые пятна. Но поднимись чуть выше – и машины и дорога исчезнут, растворившись среди жёлтых, коричневых и зелёных квадратов, прихотливым и неравномерным узором расцветивших всё раскинувшееся подо взглядом пространство.

Скучающий ребёнок, должно быть, долго и терпеливо разукрашивал клетчатый лист, чередуя все найденные в дорожном рюкзачке карандаши...

Он не преследовал никакой иной цели, кроме как поразвлечься и занять своё время, и ни от кого не хотел отличаться и не ощущал себя «винтиком», если случайно повторял уже известные узоры и сочетания цветов. Он не ожидал ни понимания, ни восторга от тех, кому его творение могло бы попасть на глаза. Просто рисовал что получалось. Но отчего-то вышло так, что, сам не желая того, этот безымянный автор стал величайшим творцом, сумевшим изложить так и такие глубины, что ни один человек, вырастающий в каждодневном их наблюдении, даже и не думает их оспаривать, а, наоборот, всю жизнь бережно хранит их в душе и, закрывая

глаза, видит их родные привычные краски, а видя, с улыбкой вспоминает родные привычные чувства.

Сухая красноватая гордость Иберии, однотонная и непоколебимая британская сдержанность, жизнерадостная зелень Галлии, вынужденное трудолюбие скуповатых германских холмов, сиятельная беззаботность Средиземноморья... Европейские пейзажи как будто кто-то специально подбирал, чтобы они, как зеркала, отражали души любующихся ими народов. Ну, или наоборот, кто-то подсказывал этим нетерпеливым душам, в каких границах им предстоит успокоиться и обжиться, с улыбкой проводя чёткие контрастные штрихи: где зелёное – там свои, где жёлтое – чужие.

Но что было бы, если бы всё смешалось – и сразу?

Если бы все цвета, все узоры, все пейзажи вдруг собрались на одном пёстром рисунке, и яркое степное приволье сошлось бы с угрюмой лесной темнотой, а гордая таёжная выносливость – с бесшабашной горской удалью, заунывное метельное одиночество соседствовало бы с лихостью приволжского хоровода, а спокойная прямота поморского взгляда – с хитрым татарским прищуром... Могло ли в этом случае получиться что-то иное, кроме России? Кроме этой доверчивой, всеобъемлющей лоскутной души... прошитой стальными, через всё простирающимися нитями.

Ну вот... Бывает же такое... Отправляясь в путь, вроде бы твёрдо знаешь, куда едешь и зачем. Поют, провожая тебя,

птицы, а солнечные зайчики играют в груди в догоняшки, и вздохи врываются в лёгкие, как порывы свежего ветра. Всё просто и понятно. И ты веришь и в то, что доедешь, и в то, что сегодня же отыщешь ответ. И так ты любишь за это! Любишь всё и всех! Тех, кто едет с тобою сегодня, и тех, до кого прежде касался твой взгляд; тех, кто задыхается от одиночества во влекущей в неизвестность толпе, и тех, кто только готовится сделать первый свой шаг; тех, кто давно уже понял разницу между счастьем и обладанием, и тех, кому это понимание не дастся, может быть, никогда...

С замирающим от радости сердцем, с нетерпеливым предвкушением чего-то огромного и радостного торопишься в самый конец, в самую даль, в самую высь, откуда наконец сможешь окинуть взором всё сразу и всё сразу понять, и всё всем объяснить...

Переживаешь, порываешься, злишься...

Но по пути, от однообразного ли шума колёс, а может быть, от утомляющей позы, или от яркого, не прекращающего слепить тебя солнца, какое-то тёмное и необоримое, какое-то соколье изнеможение овладевает тобой. Всё начинает усложняться, запутываться, всё становится неприятным и потусторонним, каким-то чужим и ненужным. Бесконечно разнообразные пейзажи – как ни в чём не похожие лица, как полярно противоположные мнения – мелькают перед утомлённым взором, и всё наслаиваются, наслаиваются, наслаиваются... Так, что мир за окном постепенно превращается в

размытое многоцветное пятно, в котором уже ничего разобрать невозможно.

Но ты пока что надеешься, пусть уже и начав подозревать, что можешь и не доехать до конца, что можешь не успеть. Ты пока что спешишь, пусть даже и по привычке, просто потому, что не способен понять, что бывают дороги, идущие в никуда или по кругу...

Но постепенно, слушая звучащий в сознании голос, наблюдая за своими спутниками, веруя в то, что в конце вы все обретёте ответ на всеобъемлющий вопрос, ты понимаешь, что за всё это время тебе и в голову почему-то не пришло задать вопросы гораздо более простые и приземлённые: кто же они такие, эти люди, сидящие с тобою в одной машине, куда они держат путь, и почему вдруг, добравшись туда, вы все должны получить ответ на «самый важный» вопрос...

А потом ты вспоминаешь, что не знаешь даже того, как звучит этот вопрос...

И вот в этот-то миг ты, как-то окончательно и неотвратно, всё понимаешь. А когда понимаешь – злоба какая-то безысходная охватывает... Видишь тогда: два подголовника, лежащие на руле руки, блестящую кожу приборной панели, а по кругу – стекло, отграничивающее твой замкнутый и ставший уже таким привычным мирок. Кажутся какими-то далёкими и нереальными юные светлые шутки... Будто это не ты всего лишь несколько часов назад, а кто-то другой и в другой жизни соревновался в пении с птичками посреди берёзовой

рощи...

И тогда почему-то хочется бросить всё это... Да, просто так: взять и бросить. Скомкать этот листок и кинуть в темнеющий безысходностью угол.

И хоть как, хоть на попутках, хоть пешком, но отправиться домой поскорее.

\* \* \*

Зёма стоял на чёрно-белом поребрике и моргал заспанными глазами. Горячее, но уже начавшее опускаться солнце освещало застывшую в полном безветрии огромную ботву какой-то немислимой редьковёклы, ряды которой стройно уходили в бесконечность... Над полем висела сонная дрожь кузнечиков, за спиной непрерывно шумели («вжух-вжух») машины.

Жара! Табачный дым легко поднимается кверху, проходя перед взглядом. Уютно и спокойно, как холодной зимой в натоп...

– Ё, ну и вонь тут, а! – с презрением проговорил подошедший со стороны заправки Сокбл. – Поехали быстрее!

– Ща, – торопливо покачал головой Зёма и, в пару затяжек добив сигарету, влез в открытую дверь.

Море подсолнухов вновь двинулось мимо, вспениваясь чёрными бурунами, то тут, то там поблескивающими из бескрайней жёлтой глади... Затем долго вертелся мультфильм



кукурузы, недорисованный ленивым художником и потому поставленный на постоянный повтор... Зёма сидел себе молча, с интересом поглядывая по сторонам... Иногда мельком бросал взгляд на Сокола – подрагивает ли ещё у того уголок рта.

Сокóл торопился, опасно обгонял. Здоровый сарай качало из стороны в сторону. Зёма даже попрочнее взялся за ручку, но противоречить пока не решался. Вдруг Сокóл сам резко сбавил скорость. Потом и совсем остановился.

– Ё...! Я так и знал! – раздражённо ударил он по рулю огромными лапами.

– Э...Э! Ты машинку не трожь! – угрозил ему Зёма. – Она – моя! Маленькая...

Он погладил мурчащее торпедо. Сокóл заглушил мотор и в раздражении вышел под обжигающие лучи.

Они остановились в самом сердце полей. С высоты парящего взора эта дорога выглядела бы просто блестящим чёрным штрихом, разрезавшим напополам жёлтый пшеничный ватман. У Сокола почему-то вдруг задрожали руки и закружилась голова: от резкого удара жары он увидел и себя, белую точку, и всё это поле, и всю эту чёрную дорогу с далеко растянувшимся по ней серебристым пунктирчиком машин, но увидел каким-то одновременным, каким-то кишащим и волнующимся, в общем – живым.

– Чё там? – крикнул Зёма из окна.

– Ну чё... Ремонт... – ответил Сокóл. Вдали виднелся

красный глаз светофора. Перед ними и позади них стояли фуры и внедорожники с прицепами. Водители неспешно прохаживались по дороге, щурились на солнце, курили, болтали, размахивая руками.

Зёма на мгновение исчез из виду, надевая кроссовки. Выполз. Солнце мгновенно обожгло кожу, а жар, исходивший от раскалённой дороги, принялся выдавливать плотную смазку из тела. Моторы стояли смирно, не жуя, поэтому в воздухе звенело лишь напряжённое чувство кузнечиков да звучал шорох тихих поцелуев, которыми ветер время от времени прикасался к золотым роскошным волосам. Волна сухих, спелых колосьев самозабвенно порывалась за каждым его прикосновением, как задурманенная головка влюблённой девчонки тянется вослед жёстко огладившей мужской ладони. А сухой западный ветер, словно не замечая, гнал всё дальше и дальше по золотой глади холмов, шурша податливой нежностью, проминая мощной рукою мягкие пригорки, опускаясь в жаркие потаённые ложбинки... Катился и гладил её везде, везде, даже там, где и вообразить было сложно, по всей огромной стране: сквозь Саратов, Челябинск, Иркутск – до самого Владивостока.

Сокёл, глядевший в сторону пробки в ожидании зелёного сигнала, размял затёкшие плечи и сказал:

– Пойду поессу...

Он перепрыгнул через узенькую канавку, зашёл по пояс в пшеницу и, отойдя на десяток-другой шагов от дороги, рас-

стегнул штаны.

Дул душный ветер. Суетливо и безостановочно метались колосья. Далеко-далеко, почти у самого горизонта, на равном расстоянии друг от друга виднелись чёрные точки комбайнов. Соколу почему-то очень отчётливо представилось, что они идут на него. Удивительным было то, что никакого страха в этой картине не содержалось, наоборот – только спокойное счастье от того, что наконец твёрдо знаешь, сколько тебе ещё здесь осталось: на то, чтобы вырыть окоп, подготовиться, вдыхая этот сухой и глупенький воздух, чтобы всё вспомнить и разложить по местам перед тем, как подняться навстречу нарастающему грохоту моторов и лязгу гусениц...

– Наверное, танки так когда-то шли на Сталинград, – сказал неожиданно подошедший и вставший рядом с ним Зёма.

Сокбл так ощутимо вздрогнул, что Зёма даже отшатнулся, ожидая всего.

– Нет... Сюда не доходили... – ответил Сокбл серьёзно и тут же застегнулся и сделал несколько шагов в сторону дороги. Остановившись, он продолжил напряжённо всматриваться в направлении светофора...

– Обамать! Ты посмотри, красотень-то какая! – проговорил мечтательно Зёма. – Вот здесь бы остаться, чтоб никуда уже больше не ехать!

– Те помочь? – не сдержался Сокбл.

Зёма обернулся к нему, расцветая улыбкой:

– Вот за что я тебя, Соколик, люблю – так это за то, что

ты всегда готов прийти другу на помощь!

– Я вижу, что ни хрена мы сегодня не доедем, – сквозь зубы проговорил Сокёл, не отрывая глаз от светофора. – Они, Ъ, бесконечно только и делают, что ремонтируют.

Зёма приблизился к нему и шумно опустил в пшеницу.

– Это у них называется «освоение», – продолжал Сокёл. – Они бы, Ъ, рядом проложили вторую дорогу, а! А не ремонтировали бы до бесконечности старую. Вот что тут, в поле, Ъ, насыпи какие-то надо делать? Корчевать что-то надо, а? Едь себе на укладчике да клади, Ъ, асфальт!

Его друг, пытавшийся, раз уж состоялась такая возможность, разобрать тайный шёпот ветра и подставить бледное лицо под горячее счастье лучей, в очередной раз сглупил и, вместо того чтобы молча кивнуть, зачем-то спросил задумчиво:

– А тебя что, серьёзно не радует, когда в твоей стране всё цветёт и строится?

– Моей... – с сомнением повторил Сокёл, снова отходя от Зёмы, словно тот мешал ему любоваться затором. – Ну да... Страна-то, может быть, и «моя». Да вот только что цветёт в ней и пахнет – всё, Ъ, какому-нибудь маркизу Карабасу принадлежит! Согласен? Чё тут радостного-то?

– А ты что, думаешь, без Карабаса что-то будет расти?

– Но ведь росло же! Росло! – как-то по-бабски, истерично проверещал Сокёл.

Зёма пожал плечами...

– Без Карабаса? – тихо спросил он и тут же, упав в траву и раскинув руки, запел: – Я буду долго гнать велосипед...

– И шею себе переломаешь...

– В глухих полях его остановлю...

– И там тебя и зарежут!..

– Миленький! Ну я согласен! Согласен! Ну говно! Говно! Ну кончай ты соколить-то! Ну хоть на секундочку! – возопил голос из хлебов, а потом, затихая (как, помнишь, голос того султана из мультика про антилопу),дохрипел: – Довольно!..

Услышав это напоминание, Соко́л как-то уж излишне нервно потер руки и, матюгнувшись, ухрустел к машине. Зёма расслабленно выдохнул и закрыл глаза. Почувствовал, что падает куда-то назад, в дрожащую жаркую глубину... Но почти сразу донёсся сердитый голос с дороги:

– Эй, любитель, погнали! Пока Цапки за тобой не пришли...

Машины впереди уже рычали, выпуская столбы чёрного дыма, медленно опадавшего на живое золото.

Не меньше часа потеряли они из-за этого ремонта. Но зато потом, до самого Волгограда, их уже ничто не задерживало. Асфальт лежал ровно, разметка виделась чётко. Концерт по заявкам трудящихся в исполнении Кадочниковой и прочих, ещё менее известных нашим героям артистов, уже давно заменился обыденной музыкальной подборкой, но реклама не уставала балаболить, соблазнительным женским голосом

предлагая семенной подсолнечник и картофель, предприимчивым мужским – сельхозтехнику «популярнейших марок» со специальным «преимуществом» для постоянных клиентов.

– Слышь, не хочешь поменять свой лом на более популярную марку? – пытался начать разговор как-всегда-виноватый Зёма. – Тут, видать, девчонки трактористов любят!..

Сокóл хмуро молчал...

Ехали... Солнце незаметно опускалось к горизонту. Оно увеличилось и стало из жёлтого рыжим. Словно усталость, которая тоже распухла и огромным оранжевым шаром пропихнулась в горло. Поля безрадостно пожухли, пожелтели, обсохли, а деревья зачахли и сжались, наклоняясь к земле и облизывая губы. Мелко дрожал ветерок какой-то противной, безысходной паники.

– Надо остановиться! – Сокóл вдруг ощутил сильнейшую жажду из будущего, почувствовав, что на вечер им может не хватить. – Чтоб уже не гадать: до девяти тут или до десяти!

И он вскоре остановился – как только на окраине какого-то небольшого городка мелькнула знакомая вывеска сетевого магазина. Хлопнули двери, удалились звуки шагов. Одинокая машина устало и гулко покашливала утомившимся от долгой дороги глушителем.

Всё здесь было совершенно другим. Но всё – тем же самым. И поражало то, что, даже несмотря на очевидность отличий, никак нельзя было просто и ясно сказать, в чём же

они заключаются. В заполнившем всё предзакатном сомнении даже ветер устало притих, словно бы остановился в тяжёлом раздумье – стоит ли ему двигаться дальше.

В полном безветрии жара неспешно вздыхала в лицо – и вроде бы в этих вздохах ощущалась мягкая душевная влага, а вроде бы чуялась смертная сухость пустыни; лучи засыпавшего солнца словно бы и белели мимо всех безразличными взглядами стройной и с виду неприступной, а изнутри изрытой поцелуями горожанки, но само солнце пунцовощёчко рдело, открыто призывая к себе, как нецелованная сочнотелая баба; вроде бы и трава воздымалась из земли и колыбалась на ветру, как где-нибудь на Клязьме, но была она редка и чахла, а земля под ней суха и сера, до того, что вдали их слияние становилось похожим на асфальтовую дорогу, только расстилавшуюся не как эта – из конца в конец, а бесконечной площадью – на все четыре стороны; да и дорогу шум колёс прорезывал с тем же точно ручьиисто льющимся шёпотом, что так уютно звучит спокойными летними ночами под любым окном на улице любого города, но горожанин, подошедший к этому окну, сильно удивился бы, увидев, что шумят в основном фуры, или, нарастая воем мощных двигателей, проходят зелёные или красные колонны колёсных тракторов, и что города-то здесь никакого и нет, а шепчущий звук растворяется в неумолчной ночной степи, как тоненький ручеёк растворяется в полноводной реке; и сама жизнь, людская жизнь, протекала здесь вроде бы как и надо: гром-

ко зазывая рекламным щитом у дороги, тихо внимая сонно моргающими домиками поодаль неё, да вот только щелчок рекламного кнута долетал досюда уж как-то слишком тонко, самым больным своим кончиком: мёртво свисая запылённым, оторванным краем плаката, затухая в ночи неподсвеченным тёмным экраном, а из окон белых домишек, старых, перелатанных, обжитых поколениями, мерцая отблесками издалека несущих свои цветастые волны телеканалов. Всё здесь было другим, и всё тем же самым... Зовущим к чему-то ехать и от чего-то бежать... Бесспорно живым и восхитительно полным, но вместе с тем растворяющим тело любого, даже самого великого и древнего города, в усыпляющей песне полей и в уверенной тьме безмятежно вздыхающей ночи.

\* \* \*

Из магазина вышли переглядываясь. Имели честь попри-  
сутствовать при эмоциональном, ёмком в плане языка вы-  
яснении отношений между кассиршей и покупательницей,  
неосмотрительно обвинившей магазин в бесчестности цен-  
ников.

– А? Ты понял, как надо?! А то – стоит, мнётся... – бес-  
страстно произнёс Сокёл.

Зёма, которому какой-то дедок в очереди больно насту-  
пил на ногу и даже не подумал извиниться, ничего не пошу-



тил в этот раз. Он закурил сигаретку и наблюдал, как Сокóл, закинув пакет с бухлом в багажник, что-то там утрамбовывает. Они стояли около японского внедорожника, расслабленные, неторопливые. Вот к ним и подошла та невысокая короткостриженная блондинка в растянутой кофте и поношенных джинсах.

– Привет, – сказала она. – Ну, чё-как, познакомимся?

Сокóл растерялся от неожиданности, а Зёма, даж не задумываясь, растопырил улыбку и протянул ей ладонь:

– Ну а чё! Давай краба, коль не шутишь!

Девушка дала ему подержаться за свои безвольные белые пальцы и так и осталась стоять рядом, не говоря больше ни слова. Сокóл вдруг понял и из-за её спины показал Зёме едва уловимый жест.

– А!! Прозекьютор! – с полулёта врубился тот. – Ну а чё ты нас путаешь! Это же значит не «познакомиться», а «поелдониться»! – Он доверительно приобнял девушку и, наклонившись к её уху, произнёс тоном опытного ловеласа: – Видишь ли, дорогая, я в этот раз неисправимо женат... Может быть, в следующий...

Но она не оценила. На стоянку въезжали фуры, и она метнулась в их направлении, не дослушав, ничего не сказав. В закатных лучах промелькнули впитавшаяся усталость да какой-то бордовый, присохнувший страх, которые сразу невероятно состарили её молодое приятное лицо.

– ...раз, – закончил Зёма, и тут же, осуждающе качая го-

ловой, пояснил другу: – Вот такие вот они, женщины...

Сокóл, завершив раскопки, изо всех сил захлопнул заднюю дверь.

Зёма, прищурившись, поглядел на него...

Откуда-то донёлся призывный стон муэдзина.

– А на инвалида ты так же смотрел. Молодчинка! Я уж думал – ща бить начнёшь! – сказал, придвигаясь, Сокóл.

– Так он, Обамать его в Бушу, встал мне на палец и не слезает... – поморщился непонятно от чего Зёма. – Почему «инвалида»?

– А ты чё, не понял? – оценивающе посмотрел на него Сокóл.

– Чего не понял? – уточнил Зёма.

– У него ж ноги не было. Это он тебе протезом наступил...

– А... Ничосе... – раскрыл рот Зёма и, бросив хабарик, добавил: – Какие-то они тут все... Не такие... Ну, давай я тебя поменяю...

Ехали...

Постукивали по выбоинам шины. Салон заполнялся спокойною музыкой, как окружающее пространство – темнотой. Говорить было не о чем. И незачем. Огромный мир за стеклом словно бы исчезал в небытии, на какое-то время оставляя существовать только двоих погружённых в свои мысли людей.

Волгоград привечал их здоровенной пробкой. На неё им пришлось обменять ещё один бессмысленный час своей жиз-

ни... Радио таинственно намекало об украденных на строительстве стадиона деньгах и о незавидной судьбе какого-то местного чиновника, приглашённого по этому вопросу в прокуратуру... Когда они наконец въехали на мост, запад тускло алел, прибирая последние прибыли с огромного, отходившего ко сну пространства. Воздымающая меч женщина смутно различимой тенью скользила в промежутках между мерцающих звёздной россыпью окон.

Ехали... ехали...

– Ну чё? – спросил Зёма.

– Нет... Не берут... – растерянно сказал Сокёл, отнимая трубку от уха.

– Я ж те говорил!

– Говорил-говорил, – заёрзал в кресле Сокёл. – Чё нам теперь, в поле ночевать? Если бы не ты...

– О... Гляди... – Зёма показал пальцем. В свете фар приближалась огромная надпись, выложенная белыми буквами на одном из холмов: «Спаси и сохрани».

– Чёт мне как-то не по себе, – переключился сразу Сокёл. – Это что, та самая дорога смерти начинается?

– Угу... – кивнул Зёма.

– Может, здесь тогда и заночуем? – предложил ему друг.

Но Зёма отрицательно покачал головой. Если бы они только могли видеть памятники, непрерывной цепью стоящие вдоль дороги... Но всё уже было сокрыто непроницаемым занавесом южной ночи. Самый опасный, неровный, не под-

свеченный и не размеченный отрезок пути им пришлось проходить в темноте. Торопились. Менялись каждый час. Утомление давно уже овладело всеми. В животах гулко урчало... Ехали... Ехали...

За рулём сидел Соко́л. Сухими глазами глядел вперед, на летящие лоб в лоб огромные фары. Снова... Снова...

Зёма от нечего делать вёл какой-то такой разговор:

– Ну Сокольчик! Ну побухти чё-нють. А?

Соко́л совершенно искренне отвечал:

– Сил нет. Извини, дорогой.

– Ну миленький, ну побухти! – домогался Зёма. – Меня это так поддерживает!..

– Давай завтра! Вот честно!

– Ну добренький мой, ну побухти... Или я вынужден буду звонить твоей маме!

– Бу...

И Зёма сладостно ржал.

Ехали... Темнота пробралась уже внутрь машины и, словно бы комкая в уютно шуршащий комок, уничтожала последние остаточки света, прорезывала гранями полутеней детали интерьера, фигуры и лица. Музыка окутывала их, погружая в звенящий непроницаемый кокон. Плавный полусон салона алел в невесомой пустоте их тел мелкой, едва ощутимую дрожью, от которой даже дышать было сложно, словно воздуха не хватало, а может, и сил было мало для нового вдоха. Но о том, чтобы открыть окно, даже не думали, как будто

знали, что летят в безвоздушной, схватившей их в чёрные лапы Вселенной. Только свет фар выхватывал небольшой отрезок дороги перед капотом, создавая иллюзию движения по чему-то, что смутно напоминало земную поверхность. Круглые решётки отопителя играли в какую-то дикую, похожую на сумасшествие игру: взлетали, стоило лишь отвести от них взгляд, и суетливо, долго подрагивая, вонзались в свои места, когда взгляд снова устремлялся на них.

Дорога поигрывала прискучившим комочком машины, словно решила дожидаться, пока та сама не исчезнет, сорвавшись в пустоту окружающей ночи.

– Пятьдесят кэмэ осталось, – бодро, насколько у него ещё оставалось задора, сказал Сокёл. Немного помолчав, добавил: – А жалко, что с нами Стёпыч не поехал!

– Да, жалко... – Зёма даже обернулся, глянув на заднее сиденье, с которого на него испуганно (нет меня, нет!) замахала какая-то странная, порождённая вспышками встречных фар, тень. – Лежал бы шас там со своей дежурной книжкой, бухтел бы чё-нють... Про космические корабли... И про волка с капустой...

– ЪЪ с два он у меня бы тут полежал! Рулил бы ша вовсю! – строго оборвал его Сокёл, тут же пояснив свою мысль: – Чёт я ЪЪся...

Ехали... Сжимала темнота... Нарастали фары... Гулко стонала музыка... Лица погружались во тьму... От Зёмы остался один лишь большой смеющийся рот, от Сокола – ли-

щённые блеска глаза (глаза пересохли от утомления, и Сокóл то и дело вытирал их кулаком).

– Ну не плачь, не плачь, дорогой! Скоро мы отдохнём! – раскрывался рот не умевшего упускать такие возможности Зёмы.

– Дозвонился? – доносилось из тьмы.

– Звоню... Звоню...

Наконец навигатор приказал свернуть на грунтовку. Машина неторопливо ехала, ожидая появления обещанного указателя, прилежно объезжая тени чего-то живого, что беспрерывно бросалось ей под колёса. Минут через десять этой дороги блеснула вывеска, указующая напрямиком в тёмное поле. Навигатор направлял туда же, и машина, тяжело вздохнув, перевалила через край дороги, сразу оказавшись на узкой тропинке, зажатой между двумя жёлтыми стенами. Фары выхватывали из темноты лишь небольшой участок пыльной колеи. На тропинке кое-где были разбросаны камни, по сторонам рябили сухие стебли высокой травы, завершившиеся на уровне крыши коричневыми кисточками.

Выше была только ночь.

Машина спешила. Корпус резко покачивался, когда она обруливала большие камни. Тропинки на карте не было, и навигатор вел по прямой, поэтому, когда машина поворачивала вслед за тропинкой, он тут же начинал ругаться истеричным женским голосом, требуя, чтобы та срочно вернулась назад. Вот только тропинка была далеко не единствен-

ной. . . Она пересекалась с другими такими же тропками, разделялась на несколько ответвлений, затем снова сходилась в одну, резко разворачивалась и устремлялась в обратную сторону, где вскоре становилась ожидающим очередного решения перекрёстком.

Огромное поле было испещрено сетью неисчислимых дорог, со всех сторон окружённых высокой травой.

Долгожданная цель – красный флажок, нетерпеливо подпрыгивающий во тьме, – она была уже совсем рядом, в какой-то малейшей минуте, но каждый раз, уже почти приблизившись, тропинка в последний момент отворачивала от неё и продолжала петлять, плутать по лабиринту одинаковых перекрёстков. От этого минута всё никак не уменьшалась, а наоборот, грозила стать вечностью.

Навигатор истошно верещал и непрерывно звонил в едкий, противный колокольчик.

Машина неслась всё быстрее, сворачивала всё резче и жёстче. Тормозила перед пересечением, сдавала назад и, выбрав новый путь, устремлялась по нему. Среди бесконечной тьмы, обступившей со всех сторон поле, металось одинокое пятнышко дрожащего света.

Вдали, у горизонта, туманно мерцали какие-то недостижимые желтоватые купола. Тусклые глазики звёзд подмигивали с какой-то странной живой закономерностью, словно тьма, шурша развевающимися одеждами, пронеслась между ними и застывшим в безысходном ожидании взглядом.

Всё давно уже было понятно.

И взгляд с какой-то веселящей даже скукой наблюдал, как и эта не выдержала пытки; как наконец обезумела и понеслась напролом, пересекая и перепрыгивая все наезженные обманные тропки, подскакивая на кочках, в прыжках этих выхватывая огромные светлые пятна из залитого тьмою пространства. Из корпуса доносились, быть может, взволнованные вскрики, может быть, чьё-то лицо белой маской вспыхивало из-за руля, на мгновенье освещённое призрачным светом. Но это было всё то же: неслись перекрёстки, повороты, машины, дома и леса, холмы и слёзы, лёгкие облака и туманные надежды, сверкающие зеркала вод, отражающие жар вечноюного солнца.

На всё это было так приятно взглянуть напоследок.

Когда испуганная и тяжело дышащая машина достигла заветного флажка и бесстрастный голос отчётливо сообщил: «Вы прибыли в точку назначения», даже те, кто в ней ехал, совсем всё поняли.

Они стояли среди поля. На одной из бесчисленных тропинок... Ни впереди, ни вокруг не было абсолютно ничего. Не было цели. Не было ничего, что могло бы объединить.

И никого нельзя было спасти...

Последовал период молчания. Потом из корпуса донёсся тяжёлый вздох... Потом кто-то махнул на кого-то рукой... Потом весь корпус затрясся, разразившись громким, продолжительным хохотом... Потом кто-то судорожно схватился за



ключ зажигания и стал бессмысленно его тереть...

И резко, в один миг, заглох двигатель, и погасло всё освещение.

Навалилась тьма. Тишина. Пустота...

II

Поддев кольцо указательным пальцем, он распахнул дверь в жаркий солнечный мир.

Пивная банка испустила облегчённый выдох и тут же прильнула к его губам в мокром и холодном поцелуе. Опустошив страсть наполовину, она смутилась своею горячностью и обмякла в суровой мужской ладони с побеждённым и растерянным видом. Сокóл смачно почесал голый живот и испустил сочный победный р-р-р-рык... Приложил влажную банку к голове. Она была полупустая, внутри что-то плавно поплёскивалось. Выставив вперёд заслуженное пузо, с которого, как занавеска с шара, свисали синие плавки, он покачивался на ступеньках деревянного домика, раздумывая, так ли уж нужен ему этот, потный и суетный, мир, и не лучше ли будет, если он, доразбравшись сейчас вот с банулькой, отправится обратно в тот, кондиционированный, тёмный и пустой.

– А вот и наш буржуй! Гнусный эксплуататор трудящегося класса. Позвольте рекомендовать, – раздался откуда-то справа громкий насмешливый голос, – как я и предупреждал, он всегда вперёд себя выпускает свою культуру!

Сокёл повернул голову на звук голоса и оступился от удивления. Чуть поодаль от их домика, в тени ровно посаженных фруктовых деревьев, на покрывале, брошенном поверх изумрудной травы, сидел Зёма. Рядом с ним, на узеньком светлом полотенчике, улыбаясь и приветливо глядя Соколу прямо в глаза, сидела невероятной, киношной какой-то красоты молодая... абсолютно голая женщина. Она была обращена к нему лицом и скрывала себя полусогнутыми ножками и руками, уютно обхватившими колени. Из ошеломляющей вспышки её смуглого тела, словно зенитные прожекторы из другого, гремящего измерения, били по его глазам алые лазеры ногтей. Белые, слегка вьющиеся волосы пышной струёю стекали за плечи, игривою пеной выплёскиваясь из-за тонкой талии. Лицо, прекрасное непривычной, скандинавской, что ли, красотой, смотрело открыто и добродушно. Стройные, раззолоченные солнцем плечи живым теплом выделялись на фоне тенистого сумрака рощи. Но самым великолепным – у него мгновенно пересохло во рту – был духозахватывающий извив (как на американских горках, рухнул с высоты – и сразу направо) от широких плеч к узенькой талии и назад – к полным бёдрам...

– Вот, это Сокёл. Это Елена! – радостно вопил Зёма, размахивая руками. – Ну чего ты там встал? Головка бо-бо? Иди к нам!

– Добрый день! – сказала красавица с заметным, похожим на прибалти-и-ийский, акцентом, и, переменив по-

зу, раскрылась: вытянула длинные ножки, опёрлась на руки сзади, встряхнула волосами... От этого движения Соко́л испытал ещё большее смущение: красивая грудь вызывающе всколыхнулась... оказавшись прикрытой упругим купальничком, а там, пониже... рухнувший взгляд разбился о непреодолимый обрывок тряпки телесного цвета.

Косолапа и даже как-то немного боком, он подтащил к ним своё плотное тело и протянул ей широкую ладонь:

– Сергей.

– Елена.

Он подала ему руку снизу вверх и ясно посмотрела в глаза. Шаловливый ветер забросил один из локонов ей на лицо, и она рассмеялась. В это мгновение она напоминала радостную младшую сестричку: с детства знакомое и милое сердцу лицо, в глазах притаились озорные искорки счастья, на щеках – едва различимые конопушки. Зёма переводил глаза между их лицами, сияя гордой мордой: как будто это он сам родил, вырастил, обучил манерам и выпустил в свет это маленькое светлое чудо.

– Ну, присаживайся, дарагой, угашать тыбя будим! – балагурил (очевидно, поддерживая уже однажды взятый тон) Зёма. – Ты, главное, тэперь свою культуру назад нэ атпусти! Вах?

Красавица захохотала, а Соко́л остался стоять, от смущения опустошив в один глоток пивную банку. Зёма схватил нож и принялся нарезать раздобытую где-то дыньку. Кро-

ме дыни, на покрывале лежали рассыпанные игральные карты, влажная маска для подводного плавания, покачивающий листами глянцевый журнал, детский клетчатый рисунок, какие-то белые, детские же, похоже, трусы... У Сокола вдруг создалось странное, сновидческое чувство, что добрая половина жизни прошла без него, пока он спал, уютно утопая в мягких вспышках, красно-чёрных полосках и обрывках ничего не значащих фраз. Куда он приехал? Да и ехал ли он куда-то вообще? Он словно книжку открыл на середине...

– Так... Держим... – Зёма поставил зарубки на дынной дольке и передал получившегося смешного зубастика Елене. – И тэбэ, Сокóл дарагой...

Но Сокóл отказался от дыни, бросив быстрый взгляд на пивные банки, сложенные у ствола. Поняв его без слов, Зёма передал ему одну.

– Но только здесь у нас так пиросто не пиют, – прагаварыл он торжественно. – У нас жэ здэс юг! Сычас я тыбя научу, чито дэлать! Так! Наверх не смотрэть! Руку подними... Выше... Правее...

Под прямым, заинтересованным взглядом новой знакомой Сокóл чувствовал себя скованно, поэтому безропотно выполнял все указания расшалившегося друга.

– Так... Нащупал? – спросил Зёма.

– Да. Это что, персик?

– Сам ти пэсрик! Эта абрыкоз! Так... Ну, и?.. Что чувствуешь?

Елена снова радостно смеялась.

– Рукой, что лы? – подыгрывал, как мог, Сокóл. – Абри-  
коз!

– Не-е-е! Значит, это нэ тот абрыкоз. Вади рукой – ищы  
другой!

Гоготнув, Сокóл покорно повёл рукой, и следующий  
фрукт, который он нащупал в листве, вдруг без малейшего  
усилия оторвался от ветки, оставшись в его ладони.

– А вот это значит – спелый! – завопил радостный Зёма  
уже по-нашему. – Понял, как надо?

Сокóл улыбнулся и присел на край покрывала. Глотнул  
холодного пива, закусил мягким соком – словно нежные губ-  
ки поцеловал...

– Ты, Леночка?.. Ты же так и не попробовала абрикосика!  
Достать?

Елена отрицательно покачала головой.

– Пожалуйста, милая... Ну давай! Я тебе достану!

– А я не хочу, Зёма, спасибо...

Но Зёму было уже не унять.

– Ой! Ну дарагая! Ну вэд он толко тэбя жидёт! Этот сыпе-  
лый, этот выкусный абэрыкоз! Читобы папаст ви тивой мал-  
энький, ви твой очароватэльный, ви твой такой кирасивый  
ротик! Ну давай! Ну детка... Ну ам... Ну...

– Всё. Не хочу... – совсем другим, строгим и холодным  
тоном, как-то резко, на всём скаку остановившим веселье,  
отрезала Елена.

Было это настолько неожиданно, и, самое главное, непонятно, что Зёма, замерев на полуслове, тупо уставился на неё. Сама же девушка, словно ничего не произошло, уже обращалась к вообще ничего не понимающему Соколу, сияя лучистым взглядом, ослепляя белизной улыбки:

– Серёжа, вы такой милый! Вы похожи на моего плюшевого мишку. Его звали Си-си.

– Вот – он? А я? Я что, не милый? – обиженно спросил Зёма.

– А ты, Зёма, очень мне напоминаешь того надоедливого осла из Шрека!

Лена произнесла это всё тем же, нейтральным, что ли, безразличным голосом, и было совершенно непонятно, хорошо она к этому ослу-то относится, или он её достал уже до жутких чертей. Повисла тишина. Мужчины сидели не двигаясь, а она, не замечая их оцепенения, доедала кусочек дыни и шурилась, как довольная кошечка.

– Я в него влюбилась сразу, как только увидела! – сказала она после долгой паузы и, отбросив корку, нежно провела мокрой, липкой рукой по Зёминой щеке. С тем, похоже, случился инфаркт.

Лизнув губы, Сокóл судорожно поднёс банку ко рту и вдруг ощутил себя полным дебилом – как будто все сразу же поняли, что ему хотелось запрятаться за этой маленькой баночкой от происходящего перед ним неохватного действия,

сути которого он всё никак не мог осознать. Елена, закрыв глаза, с удовольствием подставляла солнцу лицо. Зёма глядел на неё неотрывно, изливаясь в стремительном, обнимающем и увлекающем взгляде. Его лицо выражало настоящее страдание. Сокóл подумал, что ему лучше уйти...

– А! Молодёжь! – раздался бодрый оклик. Василич стоял на дорожке в нескольких десятках шагов и радостно улыбался. – Вижу: настоящие русские люди!

– Добрый день, Александр Васильевич! – прокричал Зёма. – А чё в нас такого русского-то?

– Ребята! – Василич сделал несколько шагов в их сторону и потому заговорил тише. – Как говорил наш полковник, великий человек: «Если видишь хороших людей, которые хотели б, чтобы всем было лучше, но которые только пьют, болтают и ничего не делают, знай – ты на Родине!»

– Да уж... – Зёма показушно потёр лоб, – вчера мы немного того... Долго ехали...

Все засмеялись.

– Санр Силич, может, дыньки с пивком, а? – предложил ему Зёма.

Василич огляделся по сторонам и, сделав ещё пару шагов в их сторону, совсем уж доверительно произнёс:

– Ах... Каб вы знали, с каким удовольствием я бы к вам сейчас присоединился... Но у нас тут не принято... – ожелезнив на мгновение голос, сказал он, и тут же с прежней улыбкой похлопал по своему огромному животу: – Вы это-

то видели? В нём этих дынек уже – штук пятьсот, наверное!

Он достал из кармана большой платок и протёр сверкающую от пота шею.

– Служба есть служба... Сначала я начну с вами отдыхать, потом кухарки начнут, потом рыбники... А что тогда будет с хозяйством, я надеюсь, вам объяснять не надо? Ну а что, твой муж ещё не возвращался? – обратился он уже к Елене. – Небось, сома огромного тащит? Ты ему передай: будет долго ездить – украдут тут тебя!

Елена помотала головой.

– Зря смеётесь, ребята! Здесь у нас не далее как две недели назад рязанские сома поймали на сорок два килограмма. Тянули его знаете сколько? Три с половиной часа! Во-во... Вы, кстати, про соревнование не забывайте – нас «Фаворит» уже почти что догнал!

Зазвонил его телефон, и он, подняв руку в знак прощания, пошёл по своим делам, на ходу рассерженно говоря: «Что? Снова нажрался?..»

Несмотря на сказанные им слова, никто не смеялся. Скорее, наоборот. Лицо у Зёмы было настолько бледно, что, казалось, мысль, что кто-то мог отыскать эту девчонку раньше него, ни разу не приходила к нему в голову за всё утро. Соколу снова стало неловко, и он заёрзал на месте, не зная, куда себя подевать. Елена же, заметив детскую эмоцию ухажёра, с каким-то даже состраданием наклонилась к нему и нежно погладила по руке:



– Ну что ты... Расстроился? Ну-ну...

Зёма отвернул от неё лицо, глаза его заблестели... Елена вернулась в свою прежнюю позу, избавляя лицо от сочувствия.

– В конце концов, ведь муж – не помеха... – произнесла она снова тем же, непонятным, тоном.

Зёма, вздрогнув, с надеждой взглянул на её лицо, но тут же отвёл взгляд.

Пшикнули ещё по одной. Попили... Зёма, кряхтя, встал и пошёл в домик.

– А Зёма действительно директором завода работает или шутит? – спросила Елена у Сокола.

– Да, действительно... На довольно крупном заводе... – ответил Сокол, снова неловко прихлёбывая. – Но только не генеральным, а техническим. Но всё равно у него там куча народу в подчинении.

– Интересно, – протянула Елена. – Представить не могу, как он может людьми управлять. Он же такой смешной и добрый!

– Он сильно меняется. Ты бы его не узнала... – сухо объяснил Сокол.

– А ты, значит, тоже руководитель? У тебя свой бизнес?

– Ну да... Фирмёшка... небольшая... – Соколу явно не хотелось об этом говорить. Но Елена не обращала на него никакого внимания.

– Ну небольшая – это сколько? Сколько сотрудников?

– Ну, десять... пятнадцать...

– О... Это хорошо... – протянула Елена и вдруг, немного наклонившись к нему, пристально посмотрела в глаза. – Значит, это действительно правда?

Сокбл ощутил вновь то же, полусонное, необъяснимое чувство от близости этой прохладной, нежной, текучей, тихо журчащей воды.

– Что... правда?.. – выдавил он из пересохшего горла.

– Что я о вас подумала, – продолжила она, отстраняясь и надевая доброе, сестричкино выражение на лицо. – Что вы очень отличаетесь от всех, кого я в России знаю. Люди вашего типа, как правило, отдыхать на такую базу не поедут... Это всё больше Таиланд, Бали, и потом обязательно всем-всем фотки разослать... Как будто не для себя, а для других туда едут... – Она помолчала. – А вот там, где я живу, там как раз такие же, как вы, в основном. Люди даже с крупными состояниями ездят на рыбалку. С палатками... Ну, или у нас больше принято, с фургончиками... Знаешь, такими...

– А где ты живёшь? – с интересом спросил Сокбл.

– Вообще, я родилась в Швеции, – просто объяснила она. – Мой папа туда убежал от ваших бандитов... Женился там... А мой муж в Германии жил. Мы там с ним и познакомились... А теперь мы в Канаде живём уже три года. Его родители туда бизнес перевели.

Какое-то время сидели молча. Было очень жарко, но как-то приятно и сонно в этой живой и подвижной тени, под

ароматными ветками, на которых покачивались жёлтые мягкие плоды. Кузнечики, задыхаясь, шуршали вокруг, по голым ступням деловито сновали муравьи.

– Ой, как хорошо здесь! Солнце такое мягкое, такое приятное...

Елена запрокинула голову, выгнула спину, разрешив мужчине власть налюбоваться шедевром природы.

– А, кстати, почему Сокóл, почему Зёма? Вы что, бандиты? – спустя какое-то время спросила она.

– Да, дарагая! – сказал незаметно подкравшийся Зёма; он снова был весел и беззаботен. – Ми таких кирасивых кирасавиц пахищаим, а патом тиребуем за них бальной-бальной бакшиш!

Елена прохладно улыбнулась и посмотрела на Сокола. Он ответил:

– У нас просто в группе было четыре Сергея. Я – Орлов, он – Зимин, вот как-то и...

– А... Вы вместе в университете учились! – поняла Елена.

– Да... – задумчиво проговорил Сокóл. Происходившее всё никак не хотело становиться реальностью, продолжая напоминать тот пьяный, кружащийся сон, от которого он, как казалось, уже должен был бы очнуться. – Слышь, Зём? В этом году уж двадцать лет будет, как я с твоей невоспитанной личностью знаком. Вот этот человек, Елена, – он указал на человека банкою пива, – это тот самый человек, который научил всю нашу группу прогуливать лекции и ругаться пре-

зидентами.

– Самой главной дисциплиной, которую мы освоили за годы учёбы в нашем родимом универе, – копируя глубоко-мысленность друга, проговорил Зёма, – была великая и таинственная теория экзистенциального буха. Ей, дорогая моя, не только мы, но и все лучшие российские умы посвящали и посвящают все свои молодые силы и таланты.

Елена с улыбкой глядела на них. Они уже порядком опьянели, но продолжали открывать и поглощать банку за банкой.

– Могу научить и тебя, моя наивная маленькая крошка.

– Нет, я как-нибудь в другой раз, – ответила женщина.

Ей нравилось, что эти мужчины так по-доброму, по-братски относятся к ней; узнав о её замужестве, не переключают своё внимание на других. Хотя, других, если честно, особо и не было. Она огляделась вокруг: на обнесённой металлическим забором территории, среди пятнадцати аккуратных деревянных домиков с визгом бегало и плескалось в надувном бассейне восемь или девять детей, три мамы стояли около бассейна, ещё три или четыре (ей было не очень хорошо видно) сидели в тени обок с мужчинами. Выходило, что она просто была единственной бездетной женщиной на этой базе. Елена подавила вздох.

– Эй, Мансур! – вдруг закричал кому-то Зёма. – Дыни хочешь?

Она повернула голову и увидела, что к ним приближается

маленький пожилой азиатский человечек, которого она каждый день видела здесь бродящим под жаркими лучами – он усердно ухаживал за садом и виноградником.

– Держи, дорогой! – Зёма протянул ему большой кусок дыни.

Мансур благодарно поклонился и, отойдя чуть в сторону, в тенёк, сел на корточки и стал есть.

– Красивый! – Он махнул обкусанной дыней в её направлении. Елена весело засмеялась, пожимая плечами и обращаясь взглядом к новым друзьям.

– Дорого стой? – продолжил вдруг этот жующий человечек, обыденным, деловым тоном, так, что улыбка как-то сама собой исчезла с её лица, и она поглядела на него, удивлённо вскинув брови.

– Дорого? – Он повторил жест, и стало понятно, что эти слова относятся к большому белому телефону, лежащему подле неё. Все засмеялись.

Когда она ехала в Россию, у неё внутри было какое-то смутное ожидание, какая-то тлеющая надежда. Ей казалось, что, приехав, она попадёт в какое-то бескрайнее поле, понесётся в какую-то леденящую даль, и что от этой, набегающей на неё, переполняющей её грудь свежести, она в один какой-то момент разорвётся на тысячу радостно звенящих осколков. От мечтаний учащалось дыхание, томно стонали соски, внизу настырно тянуло... Оказалось – всё то же. Стекланные небоскрёбы, рестораны с кучерявыми официантами,

оценивающие взгляды мужчин (только беспардонные, нагло раздевающие и безнаказанно щупающие везде – если бы кто-то осмелился так оскорбить её на родине, она тут же жёстко и безжалостно наказала бы его при помощи полиции). И вот теперь она впервые так просто смеялась, так близко и так раскрыто была с мужчинами, а они отводили свои застенчивые взгляды, развлекали её просто, по-дружески, по-человечески, совершенно ни на что не надеясь. В груди у неё было просторно. Хотелось петь, танцевать, целоваться! Останавливало только одно – эти двое были очевидными пьяницами (да ещё сами же и смеялись над этим). Ведь не стали бы духовно здоровые люди так напиваться ещё до полудня?

– Ну и как тебе Россия? Ты тут впервые? – словно заглянув в её мысли, спросил Сергей, тот, которого называли Сокол.

Елена прилегла по-романски, набросила волосы на приоткрывшуюся грудь.

– Да, нравится... – начала она, проводя ладонью по короткостриженной сочной травке, и вдруг поняла, что до сих пор даже и не думала, нравится ей здесь или нет... – А хотя, знаете, скажу вам правдиво. Можно? Не нравится мне тут. Скучно. Там, где я живу, там люди постоянно общаются, постоянно все вместе, что-то придумывают, постоянно тебя кто-то куда-то зовёт... На ярмарку, на праздник или кому-то помочь, ну или просто визит, или даже барбекю хотя бы, знаете... А здесь все сначала работают всю неделю, а потом в вы-

ходные сидят по ресторанам... Одеваются туда так, словно это приём у президента... И по улицам тоже ходят: или идёт, ни на кого не смотрит, таким, как сказать... кротом, или наоборот, идёт, и: «смотрите на меня, восхищайтесь мной»...

– Да, Москва довольно точно описана, надо признать... – засмеялся Зёма. – Но это впечатление у тебя, наверное, потому, что у тебя тут знакомых не много?

– Да... Не много... – удивлённо посмотрела на него Елена. – Откуда ты узнал?

Сокёл тоже засмеялся, услышав этот её вопрос.

– Не знаю, – всё ещё улыбаясь, ответил Зёма. – Интуиция...

– У мужа в Москве по работе, в основном, общение было. А потом мы поехали с ним в Сибирь, на какую-то такую далёкую речку... Он очень любит рыбу ловить. Мы с ним уже очень много где были, и в Австралии, и на Кубе... Так вот, мы на вертолёте туда летели часа два, наверное. А прилетели – кошмар! Там комаров столько, что мне из дому было не выйти. Вот мы сюда и переехали...

Сокёл с Зёмой переглянулись, и Елене показалось, что она сказала что-то не то.

Был полдень, солнце раскалило воздух до какой-то предельной, превратившей его из газа почти что в струящуюся жидкость точки. Но в тени жара переносилась легко, даже с удовольствием. Начиналось обеденное время, обитатели базы понемногу тянулись в кафе, шумели на ветру дере-

вья, стрекотали насекомые...

– Нет, нет... Здесь очень красиво, вы не подумайте... И сервис очень хороший... И люди все такие добрые! И вы же, вот, дружите, ходите тоже вместе... – торопясь, рассказывала она, и вдруг почувствовала, что запуталась. Она остановилась, и спросила, растерянно моргая: – Ну а вам-то самим – нравится?

– Не волнуйся, не было ещё на свете такого русского, которому бы нравилась Россия! – сказал Зёма, аккуратно положив свою ладонь поверх её (Елена посмотрела сначала себе на руку, потом ему в глаза). – Обязательно что-то не нравится! Но... – Он взял её указательный пальчик своими пальцами и потряс им, играя. – Для того чтобы наша страна становилась всё лучше и лучше, у нас есть наш великий...

– Узнаю Россию, – неожиданно прозвучал громкий и густой мужской голос, говорящий с явным шипящим акцентом. – Русский даже с раздетой женщиной будет говорить о политике.

Елена радостно улыбнулась навстречу голосу и неторопливым движением освободила ладонь. Над ними, скрестив на груди накачанные руки, стоял высокий красивый мужчина, одетый, несмотря на невыносимую жару, в летнюю натовскую форму и коричневые берцы. Короткие чёрные волосы лоснились на солнце. Глаза его не были видны из-за поляризационных очков, и от этого лицо его казалось каким-то каменным, бездушным и даже злобным.



Сокола охватил почему-то невыносимый стыд. Захотелось вскочить и бежать через царапающиеся плетни и чужие огороды, как в детстве, когда неожиданно вернулись родители...

– Вот это мой муж, Александр Крамм, познакомьтесь, – сказала официально Елена. – Алекс, вот это Соко́л, вот это Зёма...

Александр, как-то уж совсем не скрывая брезгливости, вскинул брови, услышав имена, легко кивнул головой, а руки не подал.

– И уже, гляжу я, как и все нормальные русские, до полудня пьяные? Хелен... – он что-то сказал на немецком или шведском, в общем, они поняли только, что муж требует, чтобы она срочно шла домой.

– Но, Саша, а что такое? Прекрасные ребята! – Она повернулась к друзьям и так же просто, как было просто всё, что она говорила до этого, объяснила: – Мой муж боится, что вы меня напоите. У меня проблемы с алкоголем.

– Да, Александр, давайте жить дружно! – несколько развязно сказал опьяневший Зёма, жестом приглашая присесть. – Мы никого никуда не собираемся втягивать!

– Нет, я не буду с вами сидеть, я устал, – повернулся тот к Зёме. – Уверен, что вы люди хорошие, так как у Хелен имеется прекрасное чувство людей... Я сейчас буду отдыхать, но предварительно я хочу высказаться.

Зёма, в который раз за сегодня, с удивлением посмотрел

на друга. Сокóл глядел в землю, полулежа на боку и вертя пивную банку в руке. Крамм продолжил, почти не жестикулируя и не меняя позы:

– Вот русские меня чем всегда убивают, знаете? Сейчас объясню вам. Вот все же знают, что Россия – это там, где пьют и воруют. Знаете?

Мужики вяло кивнули ему в ответ. Ни один из них не испытывал желания выслушивать о таком.

– Знаете! А делаете хоть что-то, чтобы это изменить? – Он показал на банки, разбросанные вокруг. – Ну, делаете? Делаете?

Ему долго никто не отвечал. Только после третьего или четвёртого «делайте», когда стало совсем уж неловко, Зёма, изобразив улыбку, ответил:

– Делаем, вы ж видите. Русские всегда врага заманивают, а потом уничтожают. – Он глотнул. – До последней капли.

Крамм, словно не ждал такого ответа, на миг застыл, поднял лицо к небу, что-то выискивая, и продолжил:

– Не делаете! Не делаете! А почему не делаете? Вот отвечайте мне!

Друзья молчали, не глядя на него.

– Ну, отвечайте! А я от вас потом отстану. Честно. – Крамм даже развёл руками. – Вот знаете, у меня есть ощущение, как будто этот разговор мне самому нужен! Ну?.. Ну вот почему вы не понимаете, что вы – хозяйева, а ведёте себя словно вы здесь чужие, а тот, кто вашей страной правит, и

есть её настоящий хозяин? А? Ну скажите! Почему не делаете? А?

Соко́л нехотя ответил. Ну, то самое, что абсолютно любой человек, который хочет, чтобы от него отманались побыстрее, ответил бы. Но Крамм тут же засиял, словно фокусник, у которого получился ключевой номер. Он торжествующе поглядел на жену, и, показывая пальцем на Сокола, приступил к выводу:

– Вот!!! Вот ваша русская сущность! В этих трёх словах. Но что значит «ничего»? А? Что значит «ничего»? Сначала, может быть, и ничего, а потом – всё изменится! Главное, чтобы вы начали, и вы начали, она начала, и вот они начали. – Он потыкал последовательно пальцем в направлении Сокола, Зёмы, Лены, пространства за забором. – И тогда всё изменится. По чуть-чуть, не сразу... Но изменится: и дороги, и богатство, и уважение к вам...

– А на меня ты зачем показал? – засмеялась Елена. Она уже в шестой раз наблюдала этот фокус, и ей было скучно. – Я ведь не живу здесь.

– Да они тут все, похоже что, не живут! – ещё раздражённо проговорил Крамм, но тут же смягчился, заканчивая: – Нет, господа, вы меня извините за это... Но я очень люблю... любил Россию... Потому как я здесь родился и помню всё очень хорошо. Это очень богатая, именно как-то душевно богатая страна. Потому что я не всегда люблю, что стал немцем, потому что помню, как всё это здесь... Потому что,

знаете, немец, он schnitzel поест – и он счастливый, он свою жену ...поест... (тут он усмехнулся хорошей шутке) – и доволен... А у русского не так. Русский и сыт, и одет, и жена у него красавица, и детей трое – а он всё равно грустный.

Зёме вдруг показалось, что при этих словах у её мужа вот именно такое счастливое выражение на лице появилось, как у немца, доевшего колбаску. Крамм сделал прощальный жест и направился к своему домику. На ступенях он развернулся и позвал жену по-ненашему.

– Ну, я пойду, – сказала Елена, взглянув на Зёму снизу вверх и затрепетав ресницами. – Приятно было с вами говорить!

Она быстро встала, закинула полотенце на плечо и пошла к домику. Зёма не отрываясь смотрел на её красивую спину, красивую задницу, прямо-таки ладонями ощущая упругую мягкость женского тела. Заметил, что Крамм смотрит прямо на него. Ему стало неловко, и он перевёл взгляд на друга.

– Ну какая... – сказал он мечтательно и даже передёрнул плечами, почувствовав приятный озноб.

– Забей... – квёло ответил Сокёл. – У тебя своя не хуже.

– Да, не хуже... – подтвердил Зёма шурясь. – Но то своя... и там... А то – здесь и... чужая!!

Открыли по последней банке. От жары и от пива было такое ощущение, что в голову напихали живой, скребущейся ваты. Зёме сильно хотелось в туалет, но лень было подниматься.

– А сколько у нас осталось? – спросил он.

– Не знаю... По-моему, пара баклажек и литр... – ответил друг.

– Надо ехать... – сказал Зёма.

– Слышь, Ъ, русский, – бросил на него мутный взгляд Соко́л. – Ты сюда бухать приехал? Побухать мы и дома могли бы!

– Резонно! – состроил согласную рожу Зёма. – Вот знаешь, Соколенька, за что я тебя люблю до полного изнеможения? За твой светлый и трезвый ум!

Какое-то время они попивали пиво, бросая лёгкие фразы.

– Ум... – продолжил Сергей начатую тему. – Я вот знаешь что думаю про этого? – Он кивнул головой в сторону Крамьего домика. – Он же, ЪЪ, сказал ровно то самое, что ты мне вчера говорил.

– Ну и что? – Сергей не понял, или сделал вид, что не понял. Будто не сам он, а какая-то абстрактная его ипостась прошлой ночью вопила эти же слова с надрывом в голосе и со слезами в глазах. По трезвяку он воспринимал это как какое-то общее место, избитое и даже постыдное.

– Что – «что?» А то, что всё это – правда! Что именно так мы себя все и ощущаем!

Сергей молчал. Всё думал: начнут – не начнут... Сидел на горячей земле в тени плодородного дерева, в тысяче километров от дома, крутил в руках пивную банку.

– Знаешь, милый мой, если уж на то пошло, то я давно

уже позабыл, как это – чувствовать счастье. Понимаешь?

Друг кивнул.

– Всё бегу... Бегу... Бегу... Из дома на работу, с работы домой... Жену чмокнул-шлёпнул, детей спать положил, пивка вечернего принял, забылся... А утром – по новой. И ничего сделать не могу... Не знаю, что делать-то! А внутри – темнота... Духота... Как в этой банке...

Сергей смотрел на него.

– Ты это просто поделиться? Аль совета ждёшь от опытного товарища? – спросил он.

– Валить отсюда надо... – Сергей махнул на него рукой.

– Да я тебя прекрасно понимаю, – помолчав, сказал Сергей. – Знаешь, я как на работу прихожу – в зверя превращаюсь. Они такие тупые все! Такие безответственные! Никто думать не хочет, делать ничего не хотят... Иногда так бы и взял за волосы, и головой, трамп об стол, трамп об стол... Пока не поймёт, клинтонюка. А домой придёшь – жена улыбается, дети бегают, жрака вкусная на столе дымится... «И ладушки, – думаешь. – Пусть ещё поживёт...» У тебя такое бывает?

– Нет... Как-то нет... – ответил Сергей, отводя глаза.

– Ну или вот смотри: ты хоть раз колос пшеницы в руках разминал?

– Нет.

– И не хотелось? Вот вчера, когда мы с тобой в поле стояли...

– Да нет...

– А я весь задний карман колосками себе набил. И они всю дорогу мне жопу кололи... Ты бухтел, а мне смешно было.

– Ну а зачем, зачем?

– Ну я ж тебе уже объяснил!

– Но жопу-то зачем колоть?

– Какой ты тупой, а! Вот всегда был как пробка – как пробка и помрёшь! – Он многозначительно поднял палец к небу и подытожил: – Атвликаит!

Сергей, всё это время молча разглядывавший пивную банку, поднёс её к губам и допил в один глоток. С удовлетворением улыбнулся.

Тихонечко, чтобы никто не заметил, скрылся за кустиками.

\* \* \*

Сокёл вылез из машины. Был какой-то прерывистый звон. В голове или где-то ещё. Сначала его окружала абсолютная тьма. Потом возник свет. Проявился узкий песчаный коридор с тростниковыми стенами. Он обернулся. Машина стояла нараспашку, салон был освещён. Он увидел Зёму. Зёма находился по другую сторону машины и творил что-то невозможное. Одной ногой он стоял на пороге, а другую прилаживал на развилку меж дверью и корпусом. Найдя опору, он подтянулся за рейлинги и взобрался на крышу.

– Нет!.. – заорал он, распрямившись. – Нет!!

Сокóл не двигаясь смотрел на него: обхватив голову руками, Зёма поворачивался вокруг своей оси и кричал.

«Это всё...» – У Сокола как-то разом, рывком сжалось сердце. Он понял вдруг, что в этом виноват уже один только он. Руки ослабли. Вверх по пищеводу рванулась тошнота. Он смотрел на друга через серую, непреодолимую пелену, бессильно пытаясь хоть что-то сказать...

– Да! Вижу! – вдруг завопил Зёма и, быстро сунув телефон в карман, соскользнул с крыши. – Давай, Шумахер, залезай... – обратился он к Соколу. – Я доведу.

Ноги не слушались, и, обходя машину, Сокóл поскользнулся на черепаше. Упал.

Встал, отряхнулся.

Залез на пассажирское сиденье.

Зёма вёл неторопливо, разговаривая с машиной о чём-то добром. Сокóл понимал, что это так и надо. Несколько раз Зёма тормозил, открывал дверь и, встав на порог, осматривался.

Так они ехали.

Появился забор. В нём – открытые ворота. Они оказались внутри и остановились перед пузатым человеком, поднявшим руку.

Сокóл вышел.

Ударило в голову – на него навалился оглушительный грохот кузнечиков. Он даже удивился, что там, с той стороны,



ничего подобного не было.

Его руки, спина, вообще всё тело мелко дрожало. Словно эхо затихало в глубине.

Было гулко и необъятно ощущать себя по эту сторону. А ведь где-то там всё шли и шли фары, дрожали чёрные туннели... Здесь же – молчали едва подсвеченные деревянные домики, спали запылённые машины.

Зёма подошёл к человеку и, что-то сказав, пожал протянутую руку.

Сокёл тоже подошёл и пожал.

– Александр Василич. Можно просто – Василич, – добродушно улыбаясь, сказал человек. А потом сказал: – Давайте, ребята, к столу! Потом разберётесь, ладно? Надо нам Катюшу отпустить...

Зёма что-то говорил. Сокёл шёл за ним молча. Пару раз наткнулся на Зёмину спину.

– Не-не, ребята! Не стесняйтесь, – весело объяснял Василич, провожая их к стоящему неподалёку домику. – Вы ж наша работа! Есть клиенты – есть зарплата! Нет клиентов – нет зарплаты! Всё для вас!

Они вошли в помещение и все вместе сели за стол. Когда полная женщина расставила перед ними огромные тарелки с супом и пловом, когда Василич, всё так же улыбаясь, хряпнул о стол пузырь без этикетки и с желтоватой жидкостью внутри, Сокёл наконец-то всё понял.

– Это наш собственный кальвадос! – гордо произнёс Ва-

силич. – Только для гостей!

Он разлил жидкость по четырём стопкам и позвал Катюшу. Та, порозовевшая, отмахивающаяся и говорящая, что так не принято, в мгновение ока очутилась перед столом со стопкой в руке.

Сокóл выпил...

Горячая волна сошла от макушки до желудка.

Выпил ещё...

Что-то стало проявляться. Словно из плоскости выступал мир – так бывает, когда на картинке HD-экрана вдруг промелькнёт что-то объёмное.

Закусив, Сокóл выпил ещё.

И потряс головой. Возвращалось ощущение реальности. Василич заканчивал рассказывать о питании, о прокате моторок, о рыбниках и морозильных камерах. Зёма медленно улыбался, глядя на него.

Вежливая Катюша подошла попрощаться. На лице – хитрющая улыбочка. Ну конечно же, ей налили...

– В общем, ребята, у нас тут, за забором, очень простые правила, – подводил итоги Василич. – Мы все здесь занимаемся одним общим делом, поэтому все друг друга уважаем, ну а если всё же возникают конфликты, то решаю их только я. Ну ведь просто?

– Ничего себе – просто! – затряс головой доброокий Зёма. – Столько правил! Все и не упомянуть!

Василич засмеялся.

– Насчёт соревнования запомнили?.. Хорошо... В общем, ребяташки, всё устроено как нельзя лучше: все равны, я – главный, и вы мне за это деньги платите!

– Интересно, это кто же придумал такие правила? – со смехом спросил Зёма. – Вообще, надо бы нам ещё посидеть немножко... – Он указал на пустую бутылку на столе. – У вас тут попеть теперь где-нибудь можно?

Василич вышел с ними на улицу и, провожая к предназначенному домику, кивнул на небольшой холмик, едва различимый в полутьме за корпусами.

– Вот там у нас оборудованная зона отдыха... Там и петь можете, и пить, и всё что угодно...

Друзья скоро затащили пожитки внутрь. Предусмотрительно поставили к изголовьям бутылки с минеральной водой. Захватили с собой ящик пива, кой-каких закусок, гитарку.

Зона отдыха действительно оказалась оборудованной: несколько шестиугольных деревянных беседок, в каждой – тяжёлый стол из распущенных надвое брёвен, под крышей – светильник, на углу стола – электрический чайник.

Заняв одну из беседок, они сели друг напротив друга и открыли пиво. Зёма принялся настраивать гитару. На лице его при этом возникло тихое нежное чувство – словно в руках он держал ребёнка, которого, успокаивая, гладил по мягким волосикам. В универе он был лучшим певцом. И дело было не только в профессиональном владении инструментом и не в

красивом глубоком голосе, нет. Он словно знал что-то недоступное: когда начинал петь, его песня глубокой, прохладной уверенностью заполняла пространство. Каждый, кто слышал её, против своей воли замолкал и прислушивался, а вслушавшись, – словно исчезал в оживлённом ею настроении. Если он пел о любви – девчонки приникали взглядами, приоткрывали губки и придвигались поближе к нему; если грустил – всё замолкало, припадая к земле, а после того, как затихал последний аккорд, никто долго не решался приподнять распластавшееся молчание; если играл что-то быстрое и весёлое – звенели кружками, суетились по комнате, толкались, обнимались, спешили болтать, радоваться, смеяться, и даже уже не от песни, а от одного только вида улыбок, как-то одновременно, как-то согласно и бесспорно появлявшихся на восторженных лицах.

Сокёл неторопливо открывал пачки с закусками. Смотрел на Зёму. Ждал. После случившейся с ним истерики он был как никогда спокоен и медлителен. От усталости и от отсутствия сна голова ощущалась как огромное ясное пространство, в ней что-то гудело и пощёлкивало, словно там, в глубине, протянулась высоковольтная линия. Ему очень нужна была песня.

– Ну, с приездом! – сказал Зёма.

Сокёл стукнул свою банку с его.

– Приятно вспомнить в час заката... – начал Зёма, но тут же и остановился: – Ну, чё сидишь, как пыльным мешком

ударенный? Слышь, э?

Сокóл пожал плечами. Хлебнул...

– Ночь и тишина, данные навек... – снова попытался Зёма, но двинув пальцем по струнам, отчего по ночи расплескался противный негармоничный стон, отложил гитару.

– Ну, чё такое-то? Чё за детский сад? – спросил он.

– Да что-то ЪЪЪся я... – повторил растерянное движение Сокóл. – Может, спать пойдём, а?

– Я те ща пойду! – опешил друг. – Ты зачем сюда столько пёрся? Чтоб спать?

Молчали. Свет электрической лампочки выхватывал из темноты только внутренности беседки: поблескивающие лаком бревенчатые стены, добротный стол, весь в следах от порезов, разбросанную по столу снедь, сидящих друг против друга людей.

Из темноты доносился непрерывный треск кузнечиков, изредка кричали незнакомые птицы.

– Когда это всё кончится, а? – спросил Сокóл, глядя перед собой.

– Чё?

Сокóл, не поднимая головы, неопределённо взмахнул рукой.

– Слышь, милый мой, – наклонился к нему Зёма. – Ты б забыл это всё понимать... А? Ну я тя умоляю. Ну ведь не понять ведь этого умом! Ну не понять! Даже стараться не надо! Ты ж, Трамп ты раз дёрни, только от того и переживаешь по-

стоянно, что всё и за всех понять пытаешься. А умишко-то у тебя – вот таку-у-сенький...

Сокóл кивнул.

– Ну а делать-то что?

– Трапец... «Что делать?» Ты меня слышишь вообще? Живи себе спокойно. Пряма ща начинай! Делай как чувствуешь, ни на кого не оглядывайся... Детей вот такими же неврастениками расти! Ты, вон, на себя посмотри – красный весь, глаза навывкате. Ты ведь ещё лет пять так попереживаешь – и инсульт какой-нибудь словишь... А наши развитые друзья? На них и смотреть любо-дорого! Ровные, гладкие... Они ж потому так долго живут, что всегда счастливы!

– Так зачем, зачем жить-то? – Сокóл поднял глаза и прослезился.

– Нет, это что-то невероятное... – протянул задумчиво Зёма. Какое-то время он думал. – Слышь! А хочешь уже завтра с самого утра – встать счастливым?

В наступившем молчании треск кузнечиков нарастал очень быстро, так, что вскоре превратился почти уже в рёв. Казалось, что вот-вот тонкая стеночка света не выдержит, и темнота вслед за рёвом вновь прорвётся оттуда.

– Ты вот завтра проснись – как будто тебя ничего не волнует! Ну, понятно, кроме того, как позавтракать повкуснее, какую приманку выбрать, как будет мотор работать – хорошо ли, устойчиво ли. Как будто ты не помнишь ничего про воров... Ну а вернее, как будто знаешь, что есть специаль-

ные люди, которые должны о ворах волноваться, должны их ловить и наказывать, и что есть специальные люди, которые должны волноваться о Путине, и о нашей внешней политике, и об Украине, и о газе и нефти... Как будто знаешь, что, когда кто-то плачет – это его личное дело, и что, когда кто-то первый канал громко смотрит, – это тоже тебя не касается... Ну а уж когда кто-то своим телом у обочины торгует, – что тебе в это и вообще запрещено вмешиваться, (потому что ведь он – самодостаточная личность, а его тело – его личная собственность, и только ему самому решать, что ему со своим телом лучше поделаться)...

Зёма говорил это спокойно и просто, а Сокёл – вдруг чуть не расплакался. Перед его глазами и всю-то дорогу как живое стояло милое лицо, расцветенное лучами усталости и страха, когда же Зёма вслух заговорил о бедной девчонке, Сокёл почему-то почувствовал прилив какой-то безысходной, какой-то разрывающей любви. Он смотрел на друга и вряд ли понимал что-то из того, что тот говорит – только чувствовал, что теперь не одинок, что вот: теперь его понимают...

Негнушейся рукой он поднёс банку к губам.

– Дак как не волноваться-то? – медленно произнёс он. – Если никому ничего не надо? Чё за хрень ты несёшь?

– Да! Да! Именно! Волноваться не надо. Надо делать. Потихоньку, осторожненько, в рамках закончика... Просто делать, а не волноваться.

– Ну да, начнёшь делать – и бабах, глядь, а ты уже в каме-

ре! – едко усмехнулся Соко́л. – Классно, да?

– Ну да, да! Именно! – радовался его оживлению Зёма.

– А козлы какие-то в это время будут по Куршевелям и по Ниццам на джетиках летать. Да? Так? – Соко́л в один присест ухайдакал баночку и облокотился о стол. – А я буду в тюрьме сидеть. За правое дело. А девочка будет их дальше обслуживать. И детей перед входом в больницу будут бросать, чтоб они умирали. Так?

Соко́л часто дышал, в его воспалённых глазах разгоралась правда.

– Да я ж те про это и говорю! – подыгрывал гаденький Зёма. – Ты просто никогда и понять-то не сможешь, что добро разное бывает! У вора – своё, у девочки – своё, у тебя – своё, у тех мужиков из кафешки – своё, и у англичанина с китайцем, представь себе, тоже своё!

– Разное? – заревел, приподнимаясь, Соко́л. – Вот из-за таких, как ты, и льются детские слезинки! Вам бы понять, что нельзя просто делать гадости, вам бы самим себя научить для начала! Нет, вы ж всё других учите, вы Ъ, ЪЪ, всё в чужих глазах соринки выкапываете! Вы своё бревно сначала распилите, а потом уж других учите, как им жить!

Он гневно открыл новую банку и в одну минуту сделал с ней то, что уже давно замыслил сотворить со всеми гадами, заплонившими планету. А Зёма... Зёма тоже разошёлся (правда, всё равно было не понять, в шутку ль, всерьёз):

– А... Слезинку вспомнил, ЪЪ! – завопил он в тон другу,



при этом подняв руку и показывая пальцем на Сокола, так, что палец почти что упирался тому в нос. – Так ты и есть главный убийца на свете! Ты – самое главное зло!

– Я? Я? – орал дико Сокóл.

– Да, ты! Достоевед ты хренов! Ведь ты, козлиная этакая, ты из-за своего этого ребёночка всегда забываешь, что в этом деле ещё и другая сторона есть! Что помещик – он тоже, Ъ, человек! И что он тоже добрый! Пойми ты, добрые люди – везде одинаковые, но добро-то везде разное! Ведь у помещика тоже ребёночки есть! А ты, ты что? Ты ж, когда бежишь своему ребёночку помогать, ты что, Ъ, делаешь, а? Ну скажи мне, что делаешь? А я тебе скажу, рожа ты наглая: ты, ребёнку своему помогая, всех помещиков, всех их детей, всех женщин, всех матерей, ты их всех вырезаешь! Ты их насилуешь и убиваешь, ты их всех режешь на куски! Потому что они ведь все – зло! А со злом ты ничего делать не обучен, кроме как уничтожать его на хрен! Вот кто ты такой!

Сокóл, слушая Зёму, ёрзал по скамейке, то сжимая кулаки, то потирая истерически руки. Казалось, что вот-вот, вот уже, вот – он либо вскочит и побежит, либо набросится... Но только Зёма не замечал этого (или видел уже тысячу раз?). Как оратор, взобравшийся на трибуну, он махал руками, словно пытался залезть ещё выше.

– У тебя ж всё – до конца! У тебя если воровать нельзя – то совсем. И если ты вдруг чё присопрёшь, то не ходишь такой весь спокойный, румяный: по закону ворую, типа, зна-

чит, не вор, – нет, ты начинаешь ненавидеть того, кто заставил тебя своровать (ведь ты ж не сам, не сам, несчастный-кий, пошёл воровать, тебя же заставили, правда?)... А если вдруг не ворует, ну бывает такое несчастье, то ты тогда в глубине ненавидишь тех, кто ворует, и мечтаешь свернуть всю эту гадость... Но всё же вы помните – и те, и те, – что наши партнёры только того и дожидаются, чтоб мы тут все передрались, они очень ждут, когда ж ещё пару ломтиков отрезать получится... Вот вы и сидите все по углам и, как голодные кролики, смотрите друг на друга красными глазками и ничего, ничего-то сделать не можете...

Ведь у вас как: если справедливость, то тогда вот чтобы сразу и всем, – а когда так не получается, то тогда и на хрен вам такую справедливость не надо, тогда вы при любых раскладах себя подлецами чувствуете. Всё куда-то сбежать намыливаетесь... Куда ты сбежишь-то? Ведь ты если ради вещей будешь жить – ты ж, как тот вор, будешь всегда чувствовать, что своровал у себя что-то, и себя ж будешь ненавидеть по-лютому, а если не ради вещей – то уважать себя сможешь, конечно, ты конски, вот это вот факт, но зато уж тогда от страданий тебе точно ни за какую тряпку, ни за какую тонировку будет не спрятаться! А хочешь знать, почему? Хочешь? Хочешь? Потому, что – они!..

Тут Зёма настолько внезапно и широко махнул рукой, что Сокóл, всё возмущённое внимание которого было приковано к брызжущему истиной рту, еле успел отшатнуться.

– Вот они все... – Зёма с ожесточением тыкал дланью истины прямо во тьму, в которой от него стыдливо пытались укрыться виновные. – Писатели эти твои русские, Ъ, философы... У них же всё не как у людей! У них ведь не конкретная какая-нибудь задача – показать положительный образец, высказать своё мнение, посмеяться над этим, Ъ, обществом... У них же всё и вообще! Понимаешь? Никакого «Фигаро-здесь-фигаро-там»! У них же обязательно кто-то страдать должен... Да и не просто страдать, а ещё и нас этим мучить! Да и не просто мучить, а так учить, чтоб нам отсюда бежать всем хотелось, истерически каркая: «Карету, карету!...»

Да нет, пойми! Пишут и у нас всякое, и про образцы, и про смех, просто у нас великими становятся только фанатики, только сумасброды упёртые! Читаешь-то ты, понимаешь-то ты – только их!

Ведь у нормальных людей всё как? Вот гад какой-то бабке топор в голову засадил, да? Ну нехорошо, ну бывает... И вот, ты его вместе с сыщиком вычисляешь постепенно, загоняешь, как зайца какого безмозглого, в сеть, и потом горделиво ему же (тупому) объясняешь, в чём же он прокололся, как же ты его, умница, раскусил. Всё!! Победа, справедливость, гонорар...

А у тебя?

Вот что этот дружок твой, Ъ, делает? Он, думаешь, рассказывает тебе про то, как убийцев ловят? Ха-ха! Он ведь, ЪЪ,

этот топор тебе в башку загоняет, и там им тридцать часов теребит! Туда повернёт – посмотрит, сюда повернёт – опять наслаждается... Ему ведь не предостеречь, не развлечь тебя надо, – ему надо чтобы ты топор этот в руки взять не смел! Чтобы тебя тошнило от одного топорьего вида! Ну ведь ма-ньяк! Ну больной же на голову! И вот тебе-то, тебе-то надо такое? Ну, скажи мне, надо? А ты читаешь, гад ты такой! Ты читаешь, дрожишь и оторваться не можешь!

Зёма замолк, и друзья какое-то время сидели, тяжело дыша и глядя друг на друга с почти нескрываемой неприязнью. Невыносимое, безысходное чувство стрекотало над освещённым столом – чувство непреодолимой стены, когда вдруг понимаешь, что все говорят совершенно об одном и о том же, но что никто и никогда не услышит другого.

Первым нарушил молчание Зёма.

– Ну что, хочешь меня задушить? – сказал он миролюбиво. – Знаешь... Дело в том, что и я тебя тоже очень... люблю...

Они открыли ещё по баночке. Стукнулись. Выпили. Со-кóл подтянул к себе чипсы и захрустел. Зёма достал смартфон и провёл по экрану пальцем.

– Что же нам делать? – донёсся из стрекота полей тихий шёпот.

И почему показалось, что не от кузнечиков исходил этот тихий, страдающий звук? Почему показалось, что это миллиарды голосов, погружённых во тьму, одиноких, несчаст-

ных, с новой силой застучались в непроницаемую стену, вдруг почему-то почувствовав, что их может кто-то услышать, понять, полюбить? Нет, нет... Это были кузнечики... всего лишь кузнечики, стрекочущие в ночной тишине. Несогласованный и бездумный хор насекомых, который пел так всегда и который будет петь точно так же вовеки. Петь о том, что, если так было всегда и если точно так же всегда всё и будет, то о чём же тогда волноваться, почему бы не успокоиться просто и не вернуть себе радостную детскую способность – слышать одну только тихую, убаюкивающую музыку южной томительной ночи... Почему же, почему разуму никак не удавалось слушать весь этот хор целиком! Почему он начинал выделять из него то один, то другой частный голос, а выделяя – вслушивался то в один, то в другой разрывающий душу рассказ. От этого огромного и безысходного непонимания было тоскливо и страшно: и оттого, что эти жалобные голоса не смолкали вот уже несколько тысячелетий, и оттого, что во всё это время ни один из них так и не замолк ни на миг, чтоб послушать другого, и оттого, что все вместе эти шёпоты давно уже слились в один оглушительный пьяный рёв, довольно точно воспроизведённый ещё одним нашим дружкой, преодолевающим перегон между станциями «Серп и Молот» и «Карачарово»...

– Ну а что тут поделаешь? – тихо продолжал Зёма. – Как тебе объяснить... Ну вот хочешь скажу, что тебе следует сделать, чтоб уже завтра с утра подняться счастливым?..

Тебе нужно всего лишь научиться стариков и детей в хаты загонять и сжигать, обосновывая тем, что тебе нужно чуть больше жизненного пространства... Ну и ещё евреев в газовых камерах травить, потому... просто потому, что они – евреи... Ну и индейчикам, которых тебе в честной схватке не одолеть, научиться продавать заражённые оспой одеяла, и потом, зная, что они, и все их дети, и все их старики, и все женщины умерли в страшных мучениях – жить и радоваться жизни... Ну и ещё ацтеков не забудь всех по углам разогнать, потому что они добрые и воевать с тобой не умеют, а на их место негров через океан завезти внавалку... Ну и ещё миллионы китайцев не забудь опиумом отравить всего лишь для того, чтобы подправить свой торговый баланс. И бомбочку атомную на детишек и старичков – слышь, вот это вот самое главное! – бомбочку не забудь сбросить, чтобы увенчались твои труды, чтобы свершилось наконец «величайшее достижение науки в истории человечества».

Вот и всё. И ты тут же будешь счастливым.

Ну чё, ты готов?

Готов быть счастливым?

– Я лучше сдохну, – тихо прозвучало в ответ.

– Ну вот... Ишь ты какой... А мог бы... И ни ЪЪ не подох бы... Ты просто больной. Ты – больной, понимаешь? На голову больной. Потому что ты никогда не сможешь понять, что всё это делали и продолжают делать совершенно нормальные, добрые люди. Просто с другой добротой – с такой,

которая больше делает, а меньше переживает, и которая не для всех одна и огромная, а для каждого маленькая и своя. Не дано тебе этого понять, мой друг, не дано... Да и им тоже, оттого, что тебе не дано их понять, им тоже никогда не понять, что ты – добрый. Вот почему они всегда будут твоей смертной любви бояться... Они и его потому же боялись... Да потому, что вбить себе в бошки не могли никогда, что страдание – это нормально! Что только страданием воспринимает мир душа! Что если душа есть – она только страдать и умеет, потому что этот орган исключительно для того приспособлен, чтобы страдать! Глаза видят, нос нюхает, душа – страдает. Понимаешь? А спокойствие тела – это совсем уже из другого...

Зёма отставил банку и взял гитару.

– Сдохнешь, сдохнешь... – добавил он с нежной улыбкой... – Про это ты даже и не волнуйся...

Запел «Лучину»...

Как же точно, как стройно влились в ночь тихие грустные аккорды!

Потом пел «Печаль», потом «Чёрного ворона»...

И было так хорошо, так спокойно – словно это не песня, а сама жизнь текла над степями. Словно всё, что было тяжёлого и плохого, изливалось из груди с этими протяжными звуками, оставляя после себя лишь прохладную, солоноватую, дрожащую пустоту.

Ну что... Что тут ещё можно было б добавить? Ведь тебе,

я уверен, уже и так всё понятно.

Летней августовской ночью, в мирное время, после двадцатичасового утомительного перегона здоровые, сытые, полные жизни люди пили, пели и страдали из-за какой-то выпренней и никому не нужной хрени, испытывая ровно то самое чувство, которое они испытывали бы, если бы прямо сейчас, ожидая смертельной атаки, сидели в траншее, им в лицо дул бы пронизывающий ледяной ветер, враг наполовину захватил бы их страну, а их родные были бы разбросаны по всему свету – и неизвестно ещё, живы ли...

### III

Они встали около пяти через силу. Наскоро попив чайку и оправившись, пошли на рыбалку. Нет, Зёма, конечно же, пытался, по традиции, задержать отправление – он с удивлённым видом принялся бродить вокруг домика, рассказывая, что оставленный с вечера спиннинг куда-то пропал, но опытный Сокёл жёстко пресёк этот третьесортный спектакль на корню. Сунув в руки Зёме один из собственных спиннингов, он пошёл к реке. Зёма благоразумно последовал за ним.

Так далеко от Подмосковья они забирались впервые. По телеку им долго внушали про что-то «вот такенное!», и они наконец сдались.

Река была высокая, по словам местных, метра на два выше обычного. Поэтому они переправились на другую сторо-



ну (там, говорили, было больше кустов), и пошли невдалеке от берега вверх по течению, поставив воблеры на три-четыре метра. Угрюмый Сокóл сидел на румпеле, переводя взгляд с кончиков удилиц на экран эхолота. Зёма завалился в нос лодки и дремал: не мог прийти в себя после вчерашнего (допили, естественно, всё).

Солнце ещё не встало, но небо за рекой было яркое, такого, желтовато-дынного цвета. По поверхности воды навстречу им и сквозь них, как придорожные кусты мимо летящего автомобиля, бежали обрывки ночного тумана. Было не холодно, но и не жарко – дышалось легко, без усилия, так, словно это не трудолюбивый пакет лёгких раз за разом заполнялся влажным речным воздухом, а лёгкий пакет безмятежно парил на ветру... Мотор за кормой довольно бухтел, превращая тёмную воду во взбитые сливки уносящейся вдаль пены. По высоким берегам, поросшим негустой пожухлой травой, виднелись аккуратные рощи невысоких, коренастых деревьев; кое-где корни этих деревьев проступали из размытой земли причудливыми сплетениями – они напоминали перевёрнутые вниз и обезлиственные кроны, создавая тревожную иллюзию отражения из будущего, словно невидимая гладь воды предсказывала то, что совсем скоро, зимой, случится с зеленеющими, радостно шепчущими ветвями.

По лодке пробежала быстрая тень, и, слегка поблуждав, взгляд ухватил пролетающего неподалёку орла, который,

мерно взмахивая крыльями, нёс трепещущую добычу.

Только глаза за ним уже не следили. Они замерли, прикованные к чудесному зрелищу. С горизонта, словно с края нависшего надо взглядом стола, собиралась оторваться сияющая золотом капля. Когда он заметил её, это была лишь звонкая, объёмная, щекотящая точка, но, с каждым мгновением наливаясь яркою силой, растекаясь в стороны, она превратилась в выпуклую дрожащую полосу, невыносимо набухшую от переполнивших чувств, стремящуюся взлететь, но пока неспособную.

У Сокола от этой картины свело переносицу; от подбородка к глазам прокатилась сладенькая, а потому стыдная, но невероятно приятная волна. Он потряс головой и, словно только проснувшись, увидел как-то всё сразу: бескрайнюю степь, в степи огромную реку, на реке – лодку, в лодке – себя.

Увлажнившимися глазами он посмотрел на устало сопящего, свесившего голову друга. Перевёл взгляд на солнце... И – расстроился: именно за это какое-то мгновение заря сорвалась!

Над горизонтом возвышался сверкающий и уже слепящий полукруг.

Сокёл повернулся обратно к Зёме, чтобы разбудить того и передать ему то простое, краткое слово, которое он узнал наконец, слово, которое всё вмиг ему объяснило, которое навсегда устранило печаль...

Но в этот самый момент – рвануло.



но-зелёный бок в нескольких метрах от лодки, но, словно эта коза прочла все памятки по борьбе с рыболовами, едва всплыв, тут же метнулась вниз и встала подо дном лодки. Сокóл, молниеносно сработавший руками, но всё равно едва сумевший сохранить натяг, заорал на Зёму:

– Давай подсак! Чё сидишь, б...!

– Я зацепился! – орал в ответ Зёма, дёргая из стороны в сторону гнущееся удилище.

– Ты чё, охренел? – орал Сокóл, подкидывая ногою подсак. – Давай помогай!

Зёма, кое-как закрепив снасть, бросился помогать другу. Сокóл, опустивши конец удилища в воду, подработал катушкой, затянул фрикцион и с огромным усилием потянул спиннинг в сторону. Ощущение было такое, словно он бревно приподнял, подложив под его конец палочку.

Уставшая рыбина стронулась с места.

– Пошла, козочка! – разнёсся над рекою радостный возглас.

Сохраняя натяг, он завёл голову рыбы в сачок. Зёма немного потряс и резким движением поднял...

Сокóл сидел на задней банке, тяжело дыша и прижимая пойманную рыбину ногами. Солнце уже полностью вышло из-за горизонта, лучи слепили глаза. Внутри что-то мелко дрожало и рвалось наружу. Он не знал ни того, что это такое, ни того, что с этим делать.

– А-э-а-э! – издал он вдруг какой-то звериный, неровный и некрасивый, но громкий и звонкий полукрик-полувовай.

Зёма, продолжавший тщетные попытки отцепиться, с улыбкой посмотрел на друга.

– Ну, давай, щёлкни меня, и отпустим, – попросил его всё ещё задыхающийся Сокóл.

Он надел перчатку и с трудом поднял щуку за жабры. Запечатлевшись, достал безмен.

– Девять шестьсот, – гордо сказал он. – Мне казалось, что под сотню...

Ещё раз осмотрев трофей со всех сторон, он вынул экстрактором крючки и выбросил свою царь-рыбу за борт. При этом воблер упал в воду и, слегка притонув, заиграл в быстром течении в двух метрах от лодки. Сокóл закурил. Зёма матерился, продолжая понемногу подтягивать лодку к зацепу.

– Ну что, давай я заве... – начал говорить Сокóл, и в этот самый момент его незакрепленный спиннинг сиганул в воду. Он, как-то пополам изогнувшись, успел ухватить его на лету. Затянутый фрикцион не работал, и прямо под бортом из воды выпрыгнуло что-то сверкающее и бьющее на лету хвостом.

– Бля...! – громко вопил и смеялся не находящий слов, трясущийся в совместном с рыбкой экстазе Сокóл. Зёма, закусив губу от зависти, снова положил свой спиннинг и снова помог достать.

– Три восемьсот! – сфоткавшись, сообщил ему показания безмена бездушный Сокол. – Ну что, судачка-то, наверное, возьмём?

Зёма кивнул. Ещё не было случая, чтобы он отказался от жареного судачка.

Отцепив его снасть, продолжили рыбалку. И получилось, что их не обманули. Так активно они не ловили ещё никогда. Когда часам к девяти клёв прекратился, в садке болталось ещё штук пять-шесть небольших, взятых на копчуху, ещё столько же, если не больше, были взвешены, сфотканы и отпущены за ненадобностью.

\* \* \*

Нос моторки летел над водой, вздымая два белых журчащих снопа, свежий ветер скользил по лицу, солнце жаркую ладонь положило на щёку. Соколу казалось, что это он взрезает грудью лёгкую воду, что это он несётся холодным невосомым воздухом, что это его лицо горит светлым огнём. То и дело широкая улыбка появлялась на его лице, и, когда он направлял взгляд на друга, то видел, что и Зёма чувствует то же. Быстро приближался строй высоких деревьев на берегу, залитая тенью пристань с толпою прилипших к её соскам, копошащихся на волнах голодных синих кутят. Они вернулись последними, и пришлось потрудиться, чтобы найти место и пропихнуть оголодавший лодкин пятак к терпеливо вздыха-

ющей на волнах мамке.

У Сокола всё валилось из рук. Хотелось всё собрать побыстрее и пойти, нет, побежать, нет, полететь на берег, что-то делать, кому-то помогать, но прежде всего – сообщить рыбнику вес пойманной ими рыбы, чтобы как можно скорее и их вклад влился бы в сумму общего улова, на огромном табло парящую над базой. Пока он так, суетливо и пощеничьи радостно, копался в лодке, запихивая в сумку разбросанные снасти, Зёма уже пошёл, стройный и строгий, по гулкому помосту над водой.

Проходя мимо одной из лодок, он остановился и удивлённо развёл руками:

– Семён Семёныч!..

– Чё случилось? – спросил, догоняя его, Сокбл.

– Во... – вместо ответа показал Зёма.

В чужой лодке, среди прочих, лежал Зёмин пропавший спиннинг. Обознаться было невозможно. Глаза Сокола возмущённо вытаращились, и он предложил прямо теперь надругаться над мамой наглого вора. Первейшим его порывом было найти, наказать, проучить, а Зёма, наоборот, хотел просто забрать палку и уйти. Пока они стояли, споря что предпринять, причал закачался, и к ним подошёл невысокий, одетый в зелёно-грязный камуфляж человек. Глаза его устало краснели, от него хорошенько пахло.

– А, Лёха! – протянул руку Зёма, знавший тут, похоже, всех без исключения. – Это ты вчера отличился? Как успел-

то?

Зёма щёлкнул пальцами по горлу, и Лёха в ответ на его вопрос удивлённо развёл руками, вроде и сам удивляясь – как.

– Чаво вы? – спросил привлечённый суетою егерь.

– Да вот... – Зёма рассказал ему историю пропажи. Какое-то время они обсуждали дело втроём, поглядывая на спиннинг с каким-то даже осуждением, словно эта несчастная палка сама затеяла всю эту нервность, а теперь ещё и заставляла их за неё же отдуваться. Сошлись на том, что нужно сфоткать улику, не вынимая из лодки, а затем искать Василича и гнусных супостатов, чтобы, приведя их на место, ткнуть мордою в тёплое. Этот план они и кинулись выполнять со всем рвением.

Но сначала, естественно, заглянули в кафешку.

Завтрак ещё не закончился, и они, поздоровавшись с кухарками, уселись за стол. Снаружи Сокёл с улыбкой потирал руки и даже что-то пытался шутить в предвкушении долгожданного жорева, но в голове у него на мотив ревущих финальных аккордов нацгимна звучало: «Быстро найти, наказать, про...у...чи-и-ить!» Ему казалось странным, что Зёма так спокойно относится к этому безобразию. Он начинал объяснять тому что-то такое, но Зёма вяло отмахивался всякими «да ладно» и «бывает»...

– Да пошла ты!.. – совершенно неожиданный, донёсся женский вопль со стороны кухни, и тут же, пнув дверь ногой,



в их направлении вывалилась ещё незнакомая им кухарка. Она неаккуратно несла сразу четыре предназначенные им тарелки, так, что верхняя налезла на нижнюю, раздавив и размазав по себе жёлтую блямбу яичницы. Её и без того несимпатичное лицо было искажено злобой. Она молча и зло бросила их тарелки на стол, а развернувшись, так съездила ногою промеж ног подвернувшегося ей на пути стула, что бедняга подпрыгнул и скрюченно замер, зажимая уничтоженное место и судорожно хватая прорезью воздух.

– Ну, красивая! Ну что же так жёстко! – радостно завопил Зёма.

Ему нравились такие горячие штучки. Но «красивая» одарила его таким взглядом, что даже Зёма, даже протёртый до дыр калач Зёма как-то резко подсудлся и примолк.

Сокёл, как замер на полуфразе с открытым ртом, так и сидел. Все планы по научению воров в одно мгновение вылетели из головы, теперь он возмущённо искал объяснения этому вопиющему случаю.

– Чё? Советский Союз позабыл? – заржал, хлопнув его по плечу, Зёма. – Ща вспомнишь!

Между тем было видно, что красотка его всерьёз заинтриговала, и он, ковырнув пару раз скучную тарелку, вскочил, и крикнув: «Я ща», сбёг на кухню. Сокёл без аппетита схавал раздавленную яичницу и подтянул к себе тарелку с блинами. Он был обижен и оскорблён – совершенно не привык к такому обслуживанию, в голове его роились сотни самых гор-

дых и мстительных планов. Но всё сводилось, как и в случае с покражей, опять же, к Василичу, власть которого казалась самой действенной и страшной карой для местных нарушителей.

– Ну вот как-то так... – плюхнувшись на место, сказал Зёма. Он заметно подспал, выглядел медленным, задумчивым и сомнительным.

– Чё там? – спросил Сокёл.

Зёма передал то, что узнал от Катьки, и Сокёл как-то сразу всё понял и как-то сразу почувствовал себя нехорошо от всех тех эпитетов, которыми только что мысленно осыпал Дашу (так звали злобную кухарку). В присутствии смерти разговор на время остановился, позвякивали только почти-тельно притихшие вилки. Зёма взглядом утонул в глубоком столе и лишь кивками покачивался на Соколых туманно долетающих всплесках: «Ну и сама дура – не надо было давать мужу деньги!..» «Ну, естественно, посадят, раз по пьяни сжёг!..» «А как на тринадцать тысяч жить-то можно?..» «Ну а кто её заставлял айфон брать в кредит?..» «Вот мать, мать-то жалко – как не спасли!..»

Зёма всё молчал и молчал, и Сокёл, наслушавшись себя, сам же себе и поверил, что эта злющая кухарка и точно – сама дура, а раз сама дура, то пусть сама и расхлёбывает. Успокоив свою совесть этим построением, он смачно чвыркнул сладкий ароматный чай, собираясь зажмуриться и вернуться в утренний радостный сон, но в этот момент уличная дверь

приоткрылась, и Лёхина азартная рожа вывалила задыхающуюся:

– Пой-мали! Пой-мали!

Пока они втроём торопливо шли к пристани, Лёха всё забегал вперёд и оборачивался, заглядывая им в лицо, как радостный барбос, ведущий к пустой кормушке. На деревянном помосте стояли трое: Василич и двое молодых, дорого одетых рыбаков.

– Ну, ребята, – здороваясь с друзьями за руки, добродушно прогудел Василич, – об чём шурум-бурум?

– Да вот, товарищи чужое барахлишко у вас тут прикарманивают, – дружелюбно поделился Зёма.

Василич с лёгкой укоризной посмотрел на него, потом на супостатов. Один из рыболовов молчал и затягивался, сохраняя непроницаемое выражение на лице, другой лениво повернулся к Зёме:

– Так... Это что вы такое говорите?..

– Я говорю, что это мой спиннинг, – повторил Зёма.

Рыбак, чуть зевнув даже от скуки, сказал, глядя Зёме в глаза:

– Нет, это мой...

У Сокола даже дыхание перехватило от такой наглости! Изю всех слов к нему на ум приходили только кулаки. Лёха, вставший поодаль от занятой компании, наблюдал за начинающейся зарубой с высунутым языком. Зёма же, храня почему-то полнейшее спокойствие, сказал:

– У меня с собой чехол от палки, коробка от катушки, а в ней чек. А у вас – есть?

Мужик, на мгновение лишь осёкшись, вскинул глаза кверху и снисходительно уточнил:

– А позвольте, милейший, о каком спиннинге идёт здесь речь?

– Вот этот. – Зёма показал взглядом.

– А, этот! – спокойно сказал рыбак. – Этот спиннинг общий!

– Как так – «общий»? Как так – «общий»? – не выдержал и, задыхаясь, проговорил Сокёл.

Василич миротворно положил ему руку на плечо.

– Нет, этот спиннинг – мой, – всё так же спокойно сказал Зёма.

– Скорее всего, мне его кто-то подкинул! – мечтательно произнёс их противник.

А его товарищ, отбрасывая хабец, добавил:

– Да, как докажете? Может, вы и подкинули!

– Да я и доказывать ничего и не буду. Здесь камеры вон висят, – показал Зёма.

– Милицию вызвать! – нервничал Сокёл.

При этом слове лицо рыбака изобразило уже полнейшее утомление происходящим, глаза мельком коснулись прицепленных к стволам камер:

– Ну, может быть, он в общей массе стоял... Я мог взять не глядя...

– Умысла-то не было... – торопливо присоединился его товарищ.

– Нет... Так брал или не брал, – безжалостно вёл свою тему хозяин.

– У меня был такой же! – отчаянно впиваясь в его глаза своим взглядом, но как-то изворачиваясь при этом всем телом, произнёс рыбак. Его товарищ заметно для всех сжимал и разжимал пальцы. Сокбл дрожал от негодования. Казалось – вот-вот набросится. Лёха приоткрыл радостно рот...

– Вы когда собираетесь-то? – спросил вдруг рыбаков Василий.

– Завтра, – с вызовом ответил тот, второй.

– О!.. Ну вот, вы уедете – и не возвращайтесь больше. Договорились?

– Да я на вас... Да это подстава! – негромко, но с каким-то злобным, непобедимым упорством повторял подозреваемый.

– Эх... Всё с вами понятно... – махнул рукой Зёма, доставая из лодки свой спиннинг. Он взял тяжело дышащего друга за локоть и повёл к дому.

Сокбл никак не мог успокоиться, и Зёме пришлось даже сбежать в кафешку за пивом, чтобы тому полегчало.

– Ну а что с ними поделаешь? – спокойно объяснял Зёма. – Рэзать пайдёшь?

Сокбл угрюмо молчал.

Они сидели на одеяле перед своим домиком. На траве лежали пустые бутылки. (Сокóл выдул первую, словно голодный младенец – рожок молока, и Зёме пришлось идти снова.)

– Пойдёшь... Вместе с ними же и пойдёшь... Вот увидишь, что будет, когда цены на нефть кончатся...

– Я?.. – уточнил, указав в себя пальцем, Сокóл.

– Да ну... – отмахнулся лениво Зёма.

– Нет, нет, ты расскажи. Мне интересно.

– Да, ты! Ты и такие, как ты! Все, кто из-за денег только живёт!

– Ну, и? – не понял Сокóл.

– Ну а кончатся деньги – и пойдёшь... Нет, ты-то, может быть, ещё и свалишь по-быстрому, где потеплее. Ты ж мечтаешь свалить? А вон эти... – Он кивнул головой в сторону лодок и, вдруг вспомнив что-то, рассмеялся. – Вот эти-то «добрые люди» точно резать пойдут, а наша Даша, – он показал в сторону кухни, – в бляди подастся... В весеннем месяце нисане...

– Ну и что? При чём тут деньги-то?

– Да при том, что не веришь ты ни во что! У тебя ничего, кроме них, нету!

– Ну а сам-то, сам!? – начал возбуждаться Сокóл. – Чё ты всё критикуешь? У тебя идеи какие-нибудь есть во что тверить?

Зёма неопределённо пожал плечами.

– Ну и молчи тогда в трубочку! У него вору из-под носа воруют, а он сидит тут и мудрствует!

– Да иди ты в трампу, глорик хренов, – раздражённо сказал Зёма. – У вас, коренных, всё как-то просто, клинтони вас всех дружно. Квартира своя, две машины, путёвки и всё прочее... А вы всё недовольны! Всё, видите ли, «свалить» собираетесь. Это, значит, туда, где вам вторую квартиру и третью машину дадут, что ль? А мне ещё ипотеку десять лет выплачивать... И машину – три. И детей при этом кормить... Вот у меня – цель, вот у меня – вера... Потому и не нервничаю...

Сокёл молчал, отвернувшись.

– Чё? Обиделся? – спросил миролюбиво Зёма.

– На тебя, что ль? – не то чтоб удивлённо, а даже как-то мимолётом выпустил Сокёл и, подумав немного, добавил: – Ты знаешь, я вдруг подумал, что мы с тобой в первый раз вот так вот общаемся... По-серьёзному...

Зёма улыбнулся. Затуманившимся и нежным взглядом он смотрел на природу, на друга.

– Есть, есть идея... – произнёс он наконец. – Просто её пока не нашли. Понимаешь? Она есть, но пока ещё не родился тот гений, который бы её высказал. Это как с электричеством —ведь оно тоже всегда было, но открыли его и начали использовать только с какого-то определённого момента. Ну помнишь? Стёпыч нам однажды рассказывал... Про колесо у индейцев... Ты ещё тогда...

Они сидели в полном одиночестве на уютном одеяле,

неторопливые, размякшие... Вот и подошла к ним Елена со своими шаловливыми шортиками, с прозрачной блузочкой и с мужем в правой руке.

– Привет! – сказала она, смущённо прижимаясь всем телом к мужу и слегка розовея детским лицом.

Друзья приветливо поздоровались с ними.

– Ребята, вы знаете, – просто начала она, – мы посоветовались и решили вас пригласить сегодня на секс. Вы как?

– Ч-чего? – Сокол разбилась об эти слова, как самолёт о скалу. Но это было ещё нормально, что он смог что-то сказать, потому что Зёма, тот вообще выронил банку с пивом и вытаращил безумные глаза.

Шипящий напиток беспризорно растекался по одеялу.

– Ну, сексом позаниматься, – как-то даже удивлённо изогнула ладони она. – Ну, как сказать... Вы мне оба нравитесь, и я хочу вам дать это... Ну, чтобы и вы отдохнули от жён, и мне, я надеюсь, помогли бы... Со взаимным интересом.

Она звонко засмеялась, вслед за ней скупно улыбнулся Крамм. Зёма повторил, как эхо:

– Сексом?..

– Ну да! – Она глядела на них ясно и задорно, маленькая радостная сестричка.

Зёма перевёл глаза на друга и судорожно сглотнул сухим ртом. Голова его при этом наклонилась вниз, и Елена это движение, видимо, сочла за знак согласия.

– О! Ну молодцы! Я так рада!



Муж остался стоять, скрестив руки на груди и поглядывая в стороны, а она присела и, положив руки им на колени, затараторила, раскрывая глаза и поигрывая грудями:

– Здесь так сложно найти нормальных партнёров, вы не представляете... Вы только не подумайте, что мы со всеми подряд!.. – вдруг, отчего-то всполошившись, прервалась она. – Вы очень мне нравитесь. Только... Ну только не сразу ведь сейчас, согласны? Я, просто, очень громко кричу... Ну, знаете... А тут дети... Я думаю, тогда... Что нам делать тогда?

Она вопросительно посмотрела на мужа.

– Можно отъехать на лодке, – глядя в сторону, произнёс он.

– Точно! Точно! В поле! – восхитилась Елена. – Это так мило, так просто! Только за что же мне там держаться? А?

Она снова оглянулась на мужа, но в это мгновение Сокóл прыснул от смеха.

– Что? Что такое? – с нежной улыбкой спросила она, погладив его по ноге.

– Я вот что-то представил эту группу: «четверо среди полей»... – смеясь, ответил тот. – Не, ребята, я, честно говоря, пас!

– Как так? – удивилась, в свою очередь, Елена и, так как Сокóл хранил молчание, расстроено вздохнула. – Жалко! Ты мне так нравишься. Ты – добрый! Ну а ты, ты, Зёма, ты-то поедешь?

Зёма не мог ничего сказать. Язык не слушался.

– Да нет, наверное... – наконец буркнул он, не глядя ей в глаза. – Я тоже чё-то не...

Елену ошарашил этот отказ. Какое-то время она переводила взгляд то на одного, то на другого. Выглядела такой несчастной, что казалось, вот: сейчас заплачет.

– Ну и как хотите... – Она гордо вскинула голову, вскочила и, схватив мужа за руку, пошла прочь, что-то долго выговаривая ему по-немецки. Отойдя уже довольно далеко, она развернулась и топнула ножкой: – А вообще-то, я расстроилась сильно!

Зёма сидел с выпученными глазами. Словно колосок у него где подзастрял.

– Ну а чё ты так? – спросил Сокёл. – Ты ж хотел!

Зёма посмотрел на него как на дебила и ничего не ответил.

А Сокёл и сам позабыл, о чём они говорили перед этим: всё как корова языком слизнула. Собрались и поехали вечером...

Солнце стояло ещё высоко, шумели плодоносные деревья, беззаботно щебетали птицы, деловитые муравьи чёрной дружной толпой спешили пить быстро сохнувшее на одеяле пиво.

\* \* \*

Вернулись, когда уже начинало темнеть. Зёма поспешил в дом за рыбой и за щепой, а Сокóл отправился разводить костерок.

Он шёл нахмурившись и углубившись в себя. Во всё время рыбалки был молчалив и самоуглублён – пытался вспомнить какое-то простое и радостное объяснение, пришедшее к нему утром. Но оно, как мыло из мокрой ладони, вновь и вновь ускользало из его понимания, застывая мысленный взгляд клубами щиплющей, пузырящейся словесной пены. Самым обидным было то, что он точно это знал! Да что там знал, он умел это чувствовать ещё сегодня утром, когда его первобытный вопль гремел над рекой, когда он сам летел над водой лёгким ветром. Но то ли произошедшие суетливые события, то ли его собственная, неисправимая натура, – что-то мешало чувствовать своё счастье и дальше, растворяло его, как подступавшие сумерки скучным покоем растворяли завершавшийся муравьиный день.

Коптильня располагалась на небольшой полянке, отгороженной от остальной базы высокими густыми зарослями. С одной из сторон, невидимая за деревьями, шелестела река. На полянке стоял старый, но вполне добротный шатёр, были организованы места для кострищ, стояли, собственно, две или три металлических коптильни. Войдя на полянку, Сокóл обнаружил, что одна из коптилок уже занята. Костёр под нею всюю горел, стол и скамейки были выдвинуты из-под навеса и стояли неподалёку от неё под открытым небом. За

столом сидела мужская тень, на столе стояла едва початая бутылка виски, стакан из цветного хрусталя, две тарелки, закуска. При виде бутылки Сокёл испытал знакомое каждому нормальному алкоголику жгучее голодное чувство в груди. У них с Зёмой не оставалось ни капли, в кафе уже не продавали...

– О! Дружище! Привет, – воскликнула тень с сильным шипящим акцентом.

– Да, приветствую! – Сокёл подошёл и пожал протянутую руку. Показав на фонарь, закрепленный на одном из деревьев, спросил: – Свет дали?

(Фонарь вчера не работал.)

– Да, быстро темнеет! – почему-то невпопад ответил Крамм.

Пока Сокёл разводил костёр, пока налаживал коптильню, появился Зёма с рыбой, со щепой, с гитарой и...

– Та-дам! – гордо протрубил он, доставая 0,5. – Во какие милашки на нашей кухне!

Сокёл чуть не подпрыгнул от радости. Крамм, наблюдавший за явлением Зёмы народу с гораздо меньшим добродушием, сдержанно поздоровался и плеснул себе виски на донышко. Закинув рыбку в коптильню, друзья уселись за стол. Налили и себе по стаканчику.

– Ну, за рыбалку! – торжественно произнёс Зёма и, обратившись в сторону Крамма, уточнил: – За интернациональную рыбалку!

– Я-а... – протянул тот. – Их... Вернее, я очень рад знакомству...

Выпили.

Зёма принялся настраивать гитару, а Сокóл задумчиво смотрел, как Зёмины пальцы руководят набегающими колокольчиками струн, чтобы остановить каждый из них на нужном отдалении. Он всё пытался припомнить... Вспомнить что-то... Но оно ускользало, ускользало... Он вообще с радостью ушёл бы теперь в комнату, чтобы остаться наедине с собой. Но очень хотелось есть. Да и допить нужно было – не на произвол ведь всё это бросать...

Крамм, смотревший задумчиво в огонь, неожиданно произнёс:

– Вы не принимайте мою жену за какую-то... Она только турист в России... Ни дня не жила. А там, где она выросла, это... как сказать, порядок вещей...

– Да... – протянул понимающе Зёма и пошутил: – Ну, между первым и вторым... Промежутком небольшим...

Крамм не оценил этой шутки. Пить он не стал, а почему-то снял очки и поместил их, аккуратно сложив, на салфеточку. Сокóл смог разглядеть его лицо. Без очков Крамм напоминал лопухого деревенского гопника. Только глаза у него были тихие и умные. Сокóл сразу испытал симпатию к этому спорному человеку. Между тем их бутылка как-то незаметно, если не сказать мгновенно, исчерпала себя. Над столом ощутимо повисла неловкая пауза. Пауза в четыре гла-

за глядела на бутылку Крамма.

– Ах, вот... Угощайтесь немного... – произнёс тот нехотя, и, бережно подняв бутылку (двумя руками, как ребёнка, под попку и горлышко), протянул Соколу. – Это очень дорогое whiskey. Односолодовый из Ирландии и доставлен...

– Спасибо! – не дожидаясь, пока представление закончится, проговорил Зёма и, вырвав у скромного друга бутылку, плеснул и ему, и себе по полстаканчика. Крамм запнулся, слегка округлив глаза. Затем он всё ж вспомнил, где находится, покачал головой и долил себе тоже, но уже чуть больше, чем прежде.

Какое-то время все сидели молча. Поднимали стаканы, наблюдая, как в телах костров страдают пламенные струи. Стемнело. В возобладавшем свете фонаря всё раздвоилось, приобрело тревожный, неуверенный вид, наполовину выступив, а наполовину скрывшись во тьму. Задумчиво качались деревья. От реки подступала прохлада, доносились таинственные шорохи и всплески...

– Я бы вам никогда не признался, но, так как пьяный, то скажу, – прервал долгое молчание Крамм (действительно сильно похмелевшим голосом, в котором, между прочим, уже почти не слышно было акцента). – Меня очень сильно убивает моя жена... Я очень её люблю... Очень! И... Ну вы ведь знаете, как это тяжело – делить с другим...

Зёма хотел сказать, что нет, не знает, но сдержался: он уловил общий ход мыслей...

– А почему так? – спросил Сокёл.

– Почему? Всё просто... Это её темперамент такой... Какой-то женщине достаточен один мужчина, другой – нет...

Александр допил залпом.

– Но она же сказала, что с вами всё обсудила! – удивился Сокёл.

– Так... Обсудила... – грустно покачал головой какой-то другой, совсем поникший, совсем сдувшийся Крамм. – Только если бы я не согласен... То она...

Он взмахнул пальцами вослед улетающему дыму костра.

– А я очень... Я очень её полюбил... Вам рассказать, как я в неё влюбился? – вдруг вскинулся он... – О... Это было... Как я... А она...

И он снова сник, качая головой.

– Вот! Я вам хотел... – вдруг вспомнил он и полез в стоявший у его ноги рыбачий чемоданчик. – За вашу... цюрихалте... Ребя! – На миг из него слезливым надрывом выплеснулся тот самый, настоящий деревенский гопник: – Эт вам от Санька на добрую память...

Он вытащил, пару раз уронив, две коробочки с блёснами и протянул ребятам. Прижал руки к груди.

– На память!

У Зёмы блеснули глаза. Он похлопал несчастного по плечу.

– Плеснём ещё? – спросил он Крамма. Тот опустил голову. Может, он и не слышал вопроса.

На тропинке зашуршало. Запрыгало светлое пятно фонарика. На полянку вышла Елена, одетая в белый спортивный костюм. Она несла корзинку, накрытую полотенцем.

– Oh, Helena!.. – воскликнул Крамм и произнёс что-то по-немецки. Зёма почему-то вдруг встал и стоя наблюдал, как она подходит. Она улыбнулась вежливо соседям, затем бросила взгляд на мужа и слегка поморщилась.

– Вы можете нам снять рыбку? Александр ведь не справится один...

Друзья вынули из коптильни решётку с почерневшими судачками. Елена, постелившая на стол белую тканую скатерть, ловко перекидала рыбу на принесённый поднос, поставила её на стол перед мужем. Достала закуски из корзины, разложила приборы.

– Приятного аппетита, – пожелала она Александру. Семья принялась за ужин.

– Как там наша рыбаська? – спросил, наблюдая за их трапезой, Зёма.

– Скоро будет, – успокоил его Соко́л, хлебнув вискарька.

Елена остановила вилку у рта и бросила на Зёму быстрый взгляд. Потом положила вилку на стол и спросила, словно сомневаясь:

– Вы, может быть, хотите присоединиться к нам?

– Да нет, нет! Что ты... – успокоил её Зёма, бросив при этом на друга быстрый взгляд.

У Сокола как эхо звучало в голове: «Какие-то не такие...



Не такие...»

Когда все поели, Зёма взял гитару и, немного подумав, запел «Я встретил Вас...» Елена сначала отнеслась с недоверием, но вскоре, блеснув глазами и затуманив свою красоту нежной, едва различимой улыбкой, развернулась к нему на скамейке и обратилась вся в слух. Крамм исподлобья поглядывал на жену и очевидно злился, что-то вполголоса повторяя самому себе. Соколу стало по-настоящему жаль этого небольшого и несчастливого человека, но это чувство странным образом прошло, как только тот встрепенулся и надел очки. Лицо его от этого приобрело прежнее, презрительное и безразличное выражение. За кустами журчала река. Договарившие костры, словно разговаривая друг с другом, перебрасывались тихими всполохами жара, пробежавшего красными чувствами по седому безразличию углей. Вокруг ярко горевшего в темноте фонаря вились глупые мотыльки, их огромные тени порхали по тускло освещённой поляне.

Допев очередную песню, Зёма, который как-то по привычке думал, что бутылка уже стала общей, не спрашивая, открыл её и плеснул ещё по полстаканчика Крамму, себе и Соколу. Соко́л заметил с испугом, как вдруг огромно и злобно напряглись мощные руки Крамма, но тот удержал себя.

Зёма продолжал петь, взглядом исчезая, как в сверкающем мире, в распахнутых глазах Елены.

Какое-то время Крамм наблюдал за этим, переводя глаза с Зёмы на Елену и обратно и что-то шепча себе под нос, потом

резко поднялся – Сокóл тоже дёрнулся встать, – но Крамм ухватил почти допитую бутылку и, улыбаясь сжатыми зубами, опустошил её в свой стакан. Всё, что не влезло, пролилось на скатерть. Воздух наполнился едким запахом горелого дуба.

– Почему же все русские – воры? – сказал его запинаящийся голос. Он говорил громко, но ни к кому не обращаясь. Потому его и расслышал один лишь Сокóл. Зёма пел, Елена была поглощена пением...

– Это как же надо ненавидеть страну, чтобы всегда воровать?! – повышая голос, произнёс Крамм. Он повернул голову к Соколу и пристукнул кулаком по столу. Сокóл не нашёл что на это ответить. Ему почему-то было стыдно за Зёму и жаль Крамма, и он не понимал, почему Елена ведёт себя так на глазах у мужа. Чужая обида билась в его груди. Хотелось как-то помочь ему, что-то крикнуть в лицо ей, что-то такое, чтобы она поняла. Крамм стукнул по столу ещё раз, уже сильнее. В этот момент замолк последний аккорд песни. Зёма и Елена посмотрели на него.

– Но Александр! – удивлённо сказала Елена. – Я просто здесь слушаю песню!

Зёма прикурил от зажигалки, и по его лицу, вспыхнувшему во тьме, Сокóл понял, что сейчас будет происходить. Крамм не обратил на неё внимания. Он повернул стальное лицо к Зёме и снова начал, ещё громче и вызывающе:

– Что русские чувствуют, когда все воруют? А? – сказал он

ещё громче и начал вставать. – Они стыд-то хоть чувствуют?

Зёма опустил сигарету и напрягся. Напрягся и Сокёл. А у Елены какой-то радостный страх промелькнул в глазах. Но Крамм встать не смог. Он поник, опёрся о стол локтями, качнул тяжёлой головой.

Елена вздохнула и обернулась было к Зёме, чтобы продолжить прослушивание, но тот бросил сигарету, схватил её руку и что-то начал тихо говорить. Этого Сокёл уже не выдержал. Его кто-то словно за затылок приподнял. Но только произошло это не от Крамьих слов и не от Зёминых этих движений, а от вида женского лица, наполовину выступающего из мрака.

– Зёмочка, – сказал Сокёл таким голосом, что тот не мог не обернуться. Посмотрела на него и Елена. – А я, знаешь, что я думаю про чувства русских? Знаешь? Я думаю, что у них такие же точно чувства, как у мужа, на глазах которого пришли пятеро и ЪЪ его жену. А она при этом улыбается и ноги поудобнее раздвигает.

Говоря это, он в упор посмотрел на Елену. Она пожала плечами и отвела взгляд.

– Ъ, как просто-то! – продолжал Сокёл, задохнувшись от восторга перед случайно совершённым открытием. – Ты смотри, Зёма, как надо жить-то! Вот есть у тебя, например, темперамент, да? И вдруг он, смотри, он у тебя зачесался! Так ты тогда не сиди, ты не сдерживайся, ты просто иди его и чеши скока хошь! Слышь?! Во... Перестал он у тебя по-

том чесаться, ты тогда возвращайся обратно, такой весь порядочный и честный... Зачесался у тебя опять темперамент? А ты... Ты просто – хватай ружьё тогда! И просто иди беззащитных детишек на острове стреляй! Что? Уже перестал чесаться? Посадили тебя в тюрьму удобную? А ты там сиди себе спокойненько, книжки да кляузы всякие пиши: мол, унижают меня, гады... А? Что? Зачесался он у тебя в третий раз? Так ты тогда, вообще: ты просто возьми просто танков да просто самолётов ещё возьми, да тридцать миллионов всякого шлака переработай, да ещё бомбу, слышь, ты ещё бомбу атомную на детей, да на стариков просто сбрось, чтоб просто успокоиться. А? Что? Всё? Перестал чесаться? Да? Так ты, Ъ, садись тогда обратно на жопу свою и, Ъ, дальше сиди себе на ней тихо, весь из себя такой порядочный и толерантный... Но знаете, что я на это скажу? Я терпеть такое не буду! У меня, – он постучал себя по груди, – не позволяет...

Сокбл, вдруг задохнувшись, прервался, а продолжить уже не сумел – потерял ход мысли... Зёма глядел на друга во все глаза, ожидая продолжения. Елена, переводившая взгляд с Зёмы на Сокола, к концу речи немного заскучала. Крамм угрюмо молчал. Он продолжал кивать головой, но было непонятно, слышал ли он Сокола, или, как и прежде, просто бухтел себе что-то под нос.

– Ты это не про меня, случайно, хотел рассказать? – спросила через какое-то время Елена. – Так я хочу тебе ответить, что я только с согласия мужа могу... немножко развлекать-

ся... И даже больше скажу. Мой муж запрещает кому-то другому входить в мой... в слидан... И я никогда, я никогда этого никому не позволяла! И никогда бы даже не допустила этого!

Она закончила, гордо вскинув подбородок. Потом оглядела всю эту унылую компашку и произнесла:

– Ну, знаете, мне пора. Поздно.

Елена встала и направилась к выходу с полянки, не собрав со стола и даже не взглянув на пытающегося встать, шатающегося мужа. Сокóл вдруг схватил свой стакан и громко сказал:

– Так вот я что предлагаю, Зёмочка! Давай-ка мы за простоту выпьем! Чтобы всё в нашей жизни всегда было просто!

Но Зёма не слушал его. Он рванул вслед за Еленой, остановил её на краю полянки и чего-то смутно и безуспешно добивался, пытаясь в темноте ухватиться за белые, ускользавшие гибкими змеями руки. Крамм нетвёрдой походкой пошёл к дереву, с которого светил фонарь и вдруг, мгновенно преобразившись, ловко, по-обезьяньи стал карабкаться по стволу. Добравшись до фонаря, он сорвал его, залив подножие искрами, а сам, оставшись висеть на дереве в полнейшей темноте, завопил какую-то горделивую немецкую песню, под которую вскоре и свалился с гулким стуком на землю.

Сокóл, всё ещё державший поднятый стакан в руке, обратил наконец на него внимание и безжалостно добил.

Пошёл поднимать...

\* \* \*

Утром друга было не добудиться (а может, он из принципа не вставал), и Сергей, накидав в сумку кой-какой жраки, поехал один. В этот раз он выехал раньше и ещё до восхода добрался до примеченного с вечера места. Русло реки здесь раздваивалось, была и быстрина и омутина, весь берег – ровный песчаный пляж. Несмотря на отсутствие солнца, было очень тепло, и он, начав бросать с берега, вскоре снял футболку и остался в одних плавках.

Слабый ветерок приятно щекотал волосы на груди и руках, босые пятки ощущали упругую мягкость песка, покалывающую прохладу воды, твердинки маленьких камушков.

«Как в детстве», – подумалось ему.

Да, похожую картину он и впрямь мог видеть в детстве. У бабушки, на реке, в жару, с удочкой... Но несмотря на то, что представшая перед ним картина была обычной, знакомой, восприятие её было почему-то новым: радостным и томлящим.

Тонкое ощущение, далёкое и ускользающее, как горизонт, растянулось в нём. Ему вспомнилось как-то всё сразу: тёмная дорога сюда, первый, словно в полусне проведённый день, день второй, полный суеты и сумбура, но и полный свершений и радости тоже; он был уверен, что сегодняшней день будет столь же счастливым и пройдёт не менее ярко и

полно...

Он раз за разом переживал свои воспоминания, всё больше и больше погружаясь в себя. Снаружи его руки забрасывали и подматывали приманку, а сам он кружился в каком-то обширном, дышащем свежестью и простором мире. И в этом мире тоже грело жаркое солнце, и пятки шлёпали по прохладной воде, и на леске билась рыба, но только там всё это было всегда, всегда! – до самого горизонта...

Мелкие рыбёшки прицеплялись к блесне, и руки подматывали их и снимали, и выпускали их обратно, а к нему в это время приходили всё более и более убедительные слова, и Елена наконец опускала глаза и кивала понуро головою. Солнце поднималось из-за деревьев, и губы улыбались солнцу, и глаза шурились, неспособные на него смотреть, а он сам в это время, помнится, продолжал начатый Краммом спор. И Крамм, скрестив руки на груди, обвинял русских в покорности и в воровстве, и ругал их «стадом», и учил их, что надо делать, а он легко и победоносно доказывал, что всё наоборот, что это европейцы – рабы, что это они все смирились, давно потерявши надежду... Где-то там, на реке, в далёкой и неслышной тишине проходили моторки с сидящими в них людьми, а его громкий голос опять и опять повторял свои вчерашние, но только всё более стройные и всё более правильные слова, такие, что, слушая их, он сам же гордился, как хорошо они теперь и как складно звучат, и с удивлением осознавал, что ещё никогда в жизни он так стройно о та-

ких серьёзных вещах не высказывался. И Крамм защищался, отступал и сдувался, и, становясь совсем мелким и жалким, откуда-то сверху тоненько верещал, что всё равно русские виноваты, но его, и без того еле слышные слова, уже и совсем заглушались песней, только не той, медленно-грустной, похожей на затихающее дыхание песней о печали, а новой, быстрой, весёлой песней, похожей на гимн возбуждённой крови в висках.

Сергей настолько погрузился в эти мечтания, волнуясь из глубины мелкой и радостной дрожью, которая время от времени выходила на поверхность то в виде мурашек на коже, то в виде шепчущих что-то неслышное губ, что, когда до его ступней, стоявших в мелкой воде, вдруг докоснулась какая-то скользкая и холодная волна, он сначала подумал, что это прежняя тоска захотела захватить солнечный мир, и только потом понял, что мимо него, прямо по его ногам, проплыла здоровенная, десяти, наверное, килограммовая щука.

Разглядев, что это действительно так и что громадная рыба вызывающе медленно уплывает от него вдоль самого берега, он занервничал, заторопился, захотел поскорее выбрать приманку, чтоб бросить её рыбе под нос, и сделал одно только резкое движение удилищем...

Щука мгновенно исчезла, не оставив после себя ничего.

Сергей огляделся и вытер ладонью лицо.

Почувствовал, что весь горит: солнце раскалило его кожу.

Он снял плавки и, зайдя в воду, сел на каменистую отмель,



в холодный быстрый поток. И вдруг почувствовал, что оку-  
нулся весь в счастье. Из вездесущей жары, от которой, каза-  
лось, что невозможно укрыться, попал в маленький и холод-  
ный журчащий покой. На миг ему даже показалось, что он  
проснулся – настолько явно он увидел сразу весь мир: огром-  
ное чёрное пространство, в нём – маленькую голубую пла-  
нету, на ней – зеркало моря с подвязанной к нему сверкаю-  
щей ниткой реки, в этой реке – он сам. И тогда неудержимая  
дрожь прокатилась по его телу, и рот приоткрылся, чтобы  
запустить внутрь восторженный вздох.

Он сидел спиной к потоку и чувствовал, как холодные  
струи набегают на него, и ногами упирался в скользкие кам-  
ни, иногда напрягаясь изо всех сил, чтоб не сорваться под  
сильным напором реки. Смотрел на покачивающиеся дере-  
вья, на жёлтую полоску песка, на золотое сияние, тысяча-  
ми вспышек дрожавшее по волнам бесконечного, теряюще-  
гося в неразличимой дали простора. Прислушивался к сует-  
ливому девчоночьему журчанию струй, к горделивому ще-  
бету птичек, к убаюкивающему стрекоту насекомых. И ему  
почему-то казалось, что всё это – у него внутри! Что из тём-  
ной, душной и сжатой коморки он превратился в сверкаю-  
щий, холодный и в какую-то невидимую даль стремящийся  
мир.

Он, сам не замечая того, только лишь чувствовал, не пы-  
таясь даже понять всё это умом. И он тихо и радостно улы-  
бался своей застенчивой, непривыкшей улыбкой. И руками

плюхал по воде и, погружая губы под воду, самозабвенно, по-мальчишечьи, булькал...

А потом он и вовсе погрузился с головой и, закрыв глаза, растворился в потоке, став жёлто-красной рябью струящегося за веками света, гулким, доносящимся словно из огромной сонной залы журчанием, успокоительным холодом снаружи, размеренным биением внутри... И мир летел... Всё летел и летел... Лишь изредка подправляя свой полёт лёгкими движениями пальцев.

Весь жаркий день он спал, ел, купался, кидал спиннинг, спорил с кем-то, каждый раз всё более и более важным. И всякий раз, когда вдруг по старой привычке его касалась холодная и скользкая грусть, в нём само собой воскресало ощущение холодного безграничного простора. И он тогда чувствовал, нет, не чувствовал – верил, нет, не верил – твёрдо знал, что где-то вдали уже наливается каплей, уже готовится преодолеть границу между мирами огромное жёлто-красное колесо, вот точно такое же жаркое и светлое, такое же простое и понятное, как солнце, как обычное, всем известное солнце, которое тысячи лет люди всерьёз принимали за бога, и проживали жизни, даже не сомневаясь в справедливости этих своих представлений...

Дошло даже до того, что он почти наяву представил, как это всё произошло. Как на торжественном собрании запустили в повсеместную эксплуатацию этот простой, всеми из

века в век повсеместно наблюдаемый процесс, а запустив, удивлённо смотрели друг на друга и, восторгаясь простоте его воздействия, удивлялись тому, как же такую простую вещь никто не смог придумать на пару тысяч лет раньше.

Когда он приехал назад, друг где-то шлялся, и Сергей, взглянув ненадолго домой, отправился ужинать. Еду ему принесла та же злая и недружелюбная кухарка, и при виде её тёмных, мимо него взирающих глаз, он было почти передумал. Но пока ел, припомнил всё снова. Закончив с едой, он вернулся к шелесту листьев и перезвону птиц и, обойдя кафешку с другой стороны, тихо постучал. Выглянула улыбчивая Катюша и он, стесняясь, попросил позвать Дашу. Женщина быстро оглядела его покрасневшее полное лицо с застенчивыми, исподлобья глядящими глазами, звонко засмеялась и исчезла внутри. Появилась Даша. Неприятно взглянув на него, она встала на пороге. Вытерла о передник свои большие ладони.

– Дарья... Мне... Я тут узнал про вашу ситуацию. – Он начал и тут же забыл всё, что придумал. Замялся... Но взял себя в руки и продолжил упорно. – Вы мне позволите вам помочь материально? (После он долго корил себя за эти тупые казённые слова.) Пожалуйста.

Злая кухарка резко отшатнулась от него и повернулась, чтобы исчезнуть внутри (в его желудке двумя ногами прыгало: «Не надо было! Не надо было!»), но её рука как-то

неожиданно, сама собою, уцепилась за дверную раму и рывком остановила разворот тела. Испутив тихий стон, женщина прижалась к косяку.

– Извините... Извините... – почему-то выдавил Сокóл, не глядя на неё. Он торопливо и неловко сунул ей в руку скрученные трубочкой деньги, пошёл быстро прочь. Что-то тихо прошелестело ему вслед, может быть, слово, может быть, вздох тёплого ветра...

А наутро они уезжали. Встали снова около пяти, зевали, матерились... Благо основной скарб был загружен ещё с вечера, и им оставалось лишь перекусить да сдать ключи. В последний раз осмотрев комнату, Сокóл пошёл к машине. Подле неё стоял растерянный Зёма. Грустно разводил руками.

– Чего? – не понял Сокóл.

– Во... – показал ему Зёма на спущенные колеса. – Ни одного ниппеля.

– Во ЪЪ! – сразу всё понял Сокóл.

– Кто? – удивился Зёма.

– Да те... Воры...

– А... Думаешь? – как-то странно посмотрел на него друг.

– Ну а кто? – И Сокóл тут же, по своему обыкновению, предложил совершить эротическое насилие над их мамами.

Пришлось будить Лёху, чтобы просить его о помощи. Делом это было нелёгким, ибо Лёхина вечерняя «усталость» далеко ещё не в полной мере прошла, и тот долго не вру-

бался, чего от него хотят. Зато когда врубился, когда прокашлялся – то тут же выдал тот восхитительный, былинный, всеми разыскиваемый восьмиколенный шедевр (в ходе лицеслушания которого перед мысленным взором автора разверзлись небеса и оттуда в сиянии явился этот, столь популярный теперь, символ (способный одновременно удовлетворять требованиям и русской души и серьёзного читателя))

– Ах они, ЪЪЪЪ ЪЪ, ЪЪЪЪ ЪЪЪ ЪЪ в ЪЪЪЪ ЪЪЪЪЪ Ъ и ЪЪЪЪ ЪЪ ЪЪЪ на ЪЪЪ ЪЪ, – говорил он незлобливо и даже дружелюбно, – я их ЪЪЪ, когда эти ЪЪЪ ЪЪЪЪ ЪЪЪЪ свои ЪЪЪ ЪЪ сюда, и ЪЪЪЪ ЪЪЪЪ Ъ. Эти ЪЪЪЪ ЪЪЪ ещё ЪЪЪЪ на ЪЪ, что ЪЪ ЪЪЪЪЪ ЪЪ своей ЪЪ ЪЪЪЪ ЪЪЪ, я им ЪЪ Ъ в ЪЪ и ЪЪЪ ЪЪ ЪЪ...

Взбодрившись таким образом, Лёха за несколько минут разрешил эту, казавшуюся им неразрешимой, задачу. Он свинтил три ниппеля (четвёртый Сокóл нашёл между делом в траве) с запасок: один с Зёминой, другой с «буханки», принадлежавшей базе, третий (ну а чё его, будить что ль?) с машины Василича.

– Вы только это, сотку оставьте, чтоб я купил-то... – сказал довольный, что его так восторженно благодарят, Лёха.

Зёма адресовал взгляд Соколу.

– У меня ни копья! – похлопал по карманам тот.

– У тя ж была десятка, – удивился Зёма.

– Ну нету, дорогой, честно, – подтвердил Сокóл. – Давай,

не жмись! У тебя ж у самого куча нала!

Зёма медленно и задумчиво разглядывал окружающий пейзаж, словно вспоминал, куда ж это он дел весь свой нал, и Сокóл яркою вспышкой как-то всё-и-сразу понял. Ему не стало воздуха. А ещё – захотелось удариться в Зёму с разбега, влиться в него, словно в реку, раздавить его в объятиях, и потом ещё долго тискать, рассказывая ему вот это сверкающее, обдающее жаром, то, что он обязательно, обязательно поймёт...

Сокóл скованно, как-то всем негнущимся телом сразу, развернулся и, подойдя к открытому багажнику, залез в свой рюкзак. Покопавшись какое-то время, нашёл всё же несколько жёлтых бумажек. Протянул Лёхе.

– Не... Зачем столько? Сотню! – не понял тот.

– Да на... Эт за помощь! – пояснил Сокóл, улыбаясь.

– Не, у нас как-то не принято... – просто сказал Лёха, вытянул одну и пошёл открывать ворота. Вскоре мимо него, хрустя песком, проехала серебристая большая машина. Сидевшие в ней помахали ему на прощание. Поднял руку и он. Подумав, не стал закрывать ворота: всё равно через час открывать. Пошёл ещё полежать. До шести ещё оставалось достаточно.

Сокóл рулил правой рукой, положив левую на подоконник. Ласковый воздух касался его лица и шеи, колеса с хрустом молили сухую землю. Машина покачивалась, нетороп-

ливо и уверенно поедая изрытую колеями дорогу. Над обступающей дорогу травой светлело просторное небо, под которым виднелись очень сильно вдаль: невысокие холмы, небольшие отрывистые рощи, какие-то белые постройки... Ничего, напоминающего ту, безысходную, тоннелем душившую ночную тропу, теперь не было и в помине. Зёма дремал, откинувшись на подголовник, и Сокёл, не стесняясь, улыбался сам не зная чему: этому ли задорному утру, близкой ли душе рядом с ним, а может быть, заспешившему навстречу порогу, на котором его ждали любимые люди, переступив через который он мог, наконец, отдохнуть...

Трасса была пуста, и Сокёл, не снижая скорости, вспрыгнул на неё с грунтовки. От резкого толчка Зёма мотнулся к окну и заёрзал, снова устраиваясь в кресле и что-то недовольно и гундосо бухтя.

– Эй, чувачок! Кончай скулить! – вопил бодрый Сокёл, облетая на всем ходу круглую выбоину. – Ща мы из тебя человека делать начнём!

– Ах, оставьте меня... На трампа вы меня обижаете? – сонно отмахивался переваливающийся от качки Зёма. – Поспать рабочему народу... не дадут...

Прямая и бесконечная дорога тоненькой струйкой вливалась в распростёртое небо. Яркие брызги сверкали на стёклах встречных машин. Бешено вращающиеся колеса стягивали с просторного стола пёструю скатерть, комкая и бросая назад её холмистые складки.

– Хоп, хоп, казачок! – орал ещё громче Сокóл, вместе с машинкой подпрыгивая на продолговатом горбе, лежащем поперёк надорвавшейся в этом месте дороги.

– Машина! – сипел томно Зёма, разлепляя глаза... – Моя прелесть!..

Вдыхая порывы ветра полной грудью, потягиваясь под набирающими силу лучами, просыпалась привольная, зовущая на все четыре стороны степь.

– Врагу не сдаё-отся наш гордый «Варяг»... – раскоचेга-ривая на обгон тяжёлую гробину, дребезжал Сокóл хрюкотомом, переходящим в тонкий, радостный визг там, где песню подхватывала рёвом и миганием фар быстро нараставшая стена встречного грузовика.

– Всё! Всё-всё-всё... – хватал его за руку окончательно проснувшийся Зёма. – Я с тобой. Не нужно от меня уходить!

– Я тя ни за что не оставлю! С собой заберу! – шутил искрящийся Сокóл...

Ехали!..

Через какое-то время Сокóл, уже подуспокоившийся, сказал:

– А классно, что мы собрались!

Зёма утомлённо молчал.

– А могли бы и не поехать... – произнёс наконец он.

– Почему? – удивился Сокóл.

– Помнишь красную машину? Если б она нас тогда припечатала...



– Да... – протянул мудрый Сокбл. – Счастливый случай...

Помолчав, он продолжил:

– Знаешь, что я ща понял?

– Ну чё?

– Я понял, что нам с тобою уже почти по сорок, а мы до сих пор ведём себя так, словно нам и семнадцати нет... За-мечал?

Зёма грустно улыбнулся. Посмотрел в окно. Привязанные за ниточку к далёкому, за горизонтом скрытому центру, они неслись по краю вращающегося серого диска – чем дальше от глаз, тем медленнее двигался мир. Всё состояло из ряда тусклых, размазанных полос. Вблизи ничего не разобрать было от скорости, вдали – нельзя было различить мелких деталей.

Сокбл продолжал:

– Такая красота... Ъ, солнце... Мне знаешь чё больше всего запомнилось?

– Ну чё, той рыбы глаза, которую ты отпустил? – хохотнул, отвлекаясь, Зёма. – Она ж ими прямо орала, выпученными: «Ну ты, Сокбл, и угод!...»

– Да... – подтвердил Сокбл. – Но только этого... немчика нашего... глаза... Такие добрые-добрые... И очень испуганные... Словно они видели что-то ужасное, и забыть никак не могут...

Зёма замолк, а Сокбл уверенно продолжил, испытывая даже какую-то радость от того, что обрёл способность так

складно выражать все свои мысли:

– Знаешь, это очень, очень хорошо, что мы с ними... тогда... не пошли! Я вообще думаю, что нужно как можно чаще смотреть людям в глаза... Ведь только когда смотришь человеку в глаза, можешь разглядеть человека...

Зёма молчал. Только кресло его тихонько поскрипывало.

Спустя какое-то время Сокёл оторвал взгляд от дороги, чтобы глянуть на друга. Был только чёрный затылок и белый кусочек уха. Зёма плотно, с огромным интересом изучал нарисованный на стекле пейзаж.

Холодная скользкая волна докоснулась до ног, возвращая к действительности.

Само собою припомнилось, что спиннинговые вору уехали ещё вчера утром.

За окном тянулась серая степь. По её плоскому неприятному лицу были растыканы корявые прыщи деревьев. С нарастающим гулом проносились встречные фуры. Машина резко качалась на ухабах. Через каждую минуту, а иногда и чаще, проходили по обочинам белые надгробные памятники. С фотографий, широко раскрывшись, следили глаза, под ними темнели круги запылённых венков. Молчали.

– Ъ, козлы!.. Сколько народу угробили!.. – злобно выпалил Сокёл, попав колесом в очередную, сильно встряхнувшую яму.

Они ехали... ехали... ехали...

2017

*Для подготовки обложки издания использована художественная работа автора*